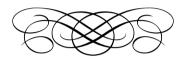
Великие поэты



Павел Антокольский



Да здравствует путь!

Комсомольская правда • НексМедиа

Москва 2 0 1 3

ББК 84 Р6 A72

Издательство благодарит Андрея Леоновича Тоома и Анну Ивановну Тоом за помощь в подготовке сборника.

Комментарии – А. Л. Тоом и А. И. Тоом

Иллюстрации Л. Черновой

Дизайн обложки И. Крюкова

Антокольский П.

А72 Да здравствует путь! [стихотворения, поэмы] / Павел Антокольский. — М.: НексМедиа; М.: ИД Комсомольская правда, 2013. — 240 с.: ил. — (Серия «Великие поэты»).

ISBN 978-5-87107-486-2

В книгу вошли избранные стихотворения русского поэта Павла Антокольского (1896–1978) разных лет.

ББК 84.Р6

- © А. Л. Тоом, наследник, 2013
- © Д. А. Тоом, наследник, 2013
- © Д. М. Журавский, наследник, 2013
- © И. М. Журавский, наследник, 2013
- © В. М. Журавский наследник, 2013
- © Чернова Л., иллюстрации, 2013 © Оформление обложки. ЗАО ИД
- «Комсомольская правда», 2013 © Составление, оформление.

ISBN 978-5-87107-486-2

ООО «НексМедиа». 2013

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХИ 1915 ГОДА

Наигрыш

Я — это мир. Но в мире нет меня. Я выпил кубок снега и огня. Рассказ стихий расскажут вам стихи, И будут строфами мои грехи.

И строем строф пройдут набаты вьюг, И станет нов мне каждый старый друг.

Я — злой старик с собакой на углу.

Я — паруса, идущие во мглу.

Я — птица ночи в синих облаках.

И я — инфанта с куклою в руках.

И много раз еще я буду жить, И много раз я буду вам служить. Вы слышите? Мне девятнадцать лет, И говорят, я недурной поэт Вы слышите? Какое торжество! Я — это я. И больше ничего.

О, как трудна и как отрадна Дорога юности для нас! Но что же будет через час? Уже уходит Ариадна. Уже в пустыне коридора Ее шагов не отличить. Уже едва белеет нить, Виясь по лабиринту спора. Летейских вод не потревожим, Забвеньем бедным порастем. Мы тайну знаем и несем, Но сохранить ее не можем.

На косогор придет. Зачем, кто знает? Над кручей запоет. О том, кто скажет? Высоко ель растет. Зачем, кто знает? Нас время заметет. Куда, кто скажет? Эй, Бутафор! Грозу устройте. И в тесноте лесных кулис Бенгальским светом удостойте Своих актеров и актрис. Послушайте! Мы очень просим Задернуть занавес теперь: Нас было сто, а стало восемь. И для чужих — закрыта дверь. Мы смеем делать, что угодно, И даже плакать. Но для Вас Не будет ли простонародна Комедия ночных проказ? Покойной ночи! Спите в тучах: Ведь это — Ваше ремесло. А нам — и в сказках самых лучших Не слишком сладко и светло.

1915

И вот к нему явилась Королева, Сказала: Кай, составь мне слово «Вечность». Он помнит: анфилада — бесконечность. Там сотни зал — направо и налево. И странный сон растет. И злится вьюга. И видит Кай: под бабушкины сказки Уснула девочка, его подруга, Сестрица Герда. Снятся ей салазки, Разбойники, олень, большая птица — Тот ворон черный с докторским наклоном, Ей снится жизнь и небо с миллионом Падучих звезд. И голос Кая снится.

Корабли

(отрывок из поэмы)

Он приходил ко мне неслышно ночью. Всегда молчал, всегда глядел в окно. Всегда чертил в альбоме корабли На острогрудых волнах; ровно в полночь Внезапно он прощался. И в окне Я долго видел черный силуэт В смешном плаще, в широкополой шляпе. Он незаметно для меня входил В мои дела. И стало мне страшнее Глядеть на мир. И мне хотелось вдаль, В другие страны, к синим островам. Хотелось видеть парусные яхты И гаваней восточных пестроту. Хотелось слушать голоса сирен И переклички воинских сигналов, И рокоты прибоев острогрудых. И собеседник моего молчанья Стал мне шептать о странах без названья, И мне являлись в золотой пыли Все те же голубые корабли. Когда же страсть, невинней и прелестней, Чем ранние, предутренние песни, С моей весной сплела свою весну И вновь ушла в свою голубизну, —

Когда я рос тоскующим и томным, Вдали от моря в городе огромном На севере в бреду спокойных лет, В стена́х разлук, тогда я стал поэт. Идут года. Вот я уже не мальчик. Гляжу на жизнь — и вижу балаганчик. Гляжу в лицо подруги — и в бреду Все чудится, далекой не найду. И много строф негаданных теснится, И много встреч недостижимых снится, И много лиц проходит предо мной, И груды книг растут сплошной стеной.

Осень — зима 1915



В цирке

Я помню трехцветный каскад, Бельгийскую ленту вкруг талии, Ее просвистевший канат И дикое сальто-мортале. А голос пронзительно пел В дыму электрической ночи О том, что веселый удел Мышиного писка короче. И там, на песке золотом, Где красные фраки глазели, Стегал по опилкам хлыстом Двойник синеглазой газели. И пела, и пела всю ночь Звезда, пролетевшая низко, Она, королевская дочь, Бельгийская эквилибристка.

1915

Шекспир

Он был никто — безграмотный бездельник, Стредфордский браконьер, гроза лесничих, Веселый друг в компании Фальстафа. И кто еще? Настойчивый вздыхатель Какой-то смуглой леди из предместья. И кто еще? Готический король, Актера на троне в мантии лоскутной, Хромой урод — с душой, как ад, распутной. И выше — Принц, забывший свой пароль, Чья шпага — истина, чей враг — король, Чей силлогизм столь праведен и горек, Что от него воскреснет бедный Йорик. Иль это — недоигранная роль? 1915

Гамлет

Марионетка позабыла роль. Марионетка опустила руки. Другие куклы — дамы, сам король — Шептались: это от большой науки. И вот она проходит, волоча Свой траурный, свой бедный плащ тревоги По сцене. И от лунного меча Мир стал тюрьмой, и подкосились ноги. Что вы прочли? — Слова, слова, слова. Покойной ночи! — Нет, я умираю, И умер шут. И выросла трава. Эй, занавес! Я больше не играю.

1915

Веласкес

О, как обречены на траурных портретах Инфанты, карлики, дуэньи и алькады В брабантских кружевах и бархатных беретах. Там, в дымной глубине, несутся кавалькады, Блистают празднества в садах Аранхуэца, В мятежной Фландрии пылают баррикады И громоздят костры, не смея оглядеться, Во имя Господа севильские монахи. А здесь — они навек, виденья Веласкеса Навек осуждены, и будут жить, и в страхе Глядят во мрак времен. И видят поколенья, Идущие в Музей к их золоченой плахе, К жестоким образам Тоски и Вырожденья. 1915

Ни Золушки шаги по пыльному паркету, Ни палевый рассвет в гирлянде облаков Не потревожат сна и не нарушат эту Беседу чопорных и глупых стариков. Она прошла, как тень, в одной стеклянной туфле. Ей звякнули в ответ часы из пустоты. И жирандоли их метнулись и потухли Склоняя фитили, как рваный шарф шуты. Она прошла, как тень, по пыльному паркету. Кольцо ливрейных слуг сомкнулось. А потом Куда-то в новый сон везли ее карету, И прозвенел рожок за поднятым мостом.



Ночь протекла. Горит одна свеча. Считая вслух, бледнея от азарта, В последний раз вы стасовали карты — И кинули червонцы сгоряча. Вы плачете? Снимите вашу маску. Я узнаю вас, молодость мою, Вы лгали мне и, торопя развязку, Сказали правду бедную свою. Ночь протекла, и с нею — сновиденья. Есть между нами Третий? Что за вздор! Гортанный крик — и кончен разговор. Последний поцелуй — за представленье. 1915

Был вечер, вымазанный сажей, Дорожный сумрак впереди И траур облачных плюмажей Сквозь кособокие дожди. И мы, сложив покорно руки И скоротав дремотой путь, Словами вышивали звуки И песней надрывали грудь. Ты пела — над дорогой темной, Над многоверстной быстротой, Над жизнью — праздничной, нескромной, Бездомной, дикой и пустой...

1915

10

День деревенской бедной сырости, Мой песенный далекий путь — Как высоко ты должен вырасти, Чтобы до сердца доплеснуть... Смотрю — над желтизной песчаника, Над набережной крутизной Уводит и морочит странника Звенигородский белый зной. И все гремит и все проносится, И все еще не доплыла Великая разноголосица. И все поют колокола.

1915

~ .

Дождь бьет в стекло. Удушье черноты. Стучит в стекло чугунный перстень Вия. Припоминают люди, как впервые, Своих портретов страшные черты. Чадит свеча. Шатаются кресты. Летят стрелой дороги столбовые. Встают на зов и топчутся кривые И заспанные тени пустоты. И бедный Смех проходит, спотыкаясь, Уродливый, со скрипкой и горбом, И облака, шурша и задвигаясь, Повисли над линючей пестротой, Как занавес комедии пустой.

1915

Я бы хотел противоречить всем, Быть мерзким пугалом добросердечью, Поставить кривду выше теорем И кверху дном — свое противоречье. Я бы хотел, чтоб истина была Разгадана, заключена в игрушке И пополам сломаться бы могла Или растаяла в руках простушки. Чтобы потом, наладив механизм И приведя колесики в движенье, Ребенок строил новый силлогизм И изменил таблицу умноженья. 1915 (1916)

Есть много на земле занятий и профессий, Есть много ангелов, архангелов, чертей, Поющих петухом, кричащих о Прогрессе, Лохматых стариков и стриженых детей. Есть много ярмарок и сотни колоколен, И тысяча разлук и груды всяких бед — Так отчего же ты сегодня недоволен? Чего же здесь еще не понял ты, поэт? Какой тебе звезды? Вокруг, вверху кипенье Безмерной глубины. И по утрам светло. Терпенье до конца — терпенье и терпенье. Есть у тебя вино, душа и ремесло.

1915

Все, что осталось здесь от бедного рассказа, От жизни и судьбы, в словах и между них, И все, что вы прочли — огонь, безделье, фраза, Все очертанья букв и каждый детский стих, — Пусть вьется по ветру осенним листопадом! Дорога далека. Успеем отдохнуть. Мильярды мертвецов воскреснут этим ядом. А то, что здесь горит, — мне освещает путь. 1915

Король упал. Он был в своей прекрасной Расшитой мантии. И он упал, Как заводная кукла. Желто-красный Атласный шут над трупом танцевал.

Уже неслись, трубя и громыхая, Над ратушей подняли черный флаг. Двенадцать раз пролепетал вздыхая Те Deum* убегающий монах.

Прошли века. И навсегда остались Безмозглый шут и королевский труп. И в вихре демонического вальса Сбегает пена с слишком красных губ. 1915

^{*}Сокр. от Te Deum Laudamus — Тебя, Бог, хвалим (лат.); из христианского гимна.

Магическое

Среди созвездий Зодиака Есть неизбежный путь. И сердце — нищая собака — Не смеет отдохнуть.

И кудри черные с другими Седыми сплетены. Пусть встанет рядом Божье Имя С названьем Сатаны!

И плачет девушка за прялкой, О, как ей долго ждать, Как много надо спрясть, как жалко, Как страшно отгадать.

И где-то там, так сердцу снится, В далекой стороне, Недостижимый всадник мчится На голубом коне.

Так и идут в пролетах бури И плачут без конца Два странника земной лазури, Два сердца-близнеца.

Два сердца лгут одно и то же, Скрестились два клинка. Ты слышишь ли, о Боже? Дорога далека...

Так я богат

Я злой колдун, я царь земли проклятой. В моих подвалах спят руины слов, Колчаны вьюг, соблазны городов. И я живу, как Арлекин горбатый.

Но в глубине одной моей палаты Спит девушка светлее облаков, И ярче звезд, и солнечней снегов, И сладостней моей струны крылатой.

Так долго спит. Я познаю мечты, — Идут, сменяя домино и позы Крикливых масок шумные черты.

И книжный бред кропят живые слезы, И выросли в тюрьме сонетов розы — Старинный знак Любви и Чистоты.

Разговор у подъезда

Опусти золотые ресницы! Понял я твой немой приговор. И уйду. Нам недолго проститься. И нестрашно забыть этот вздор.

В этом мире сопплись мы случайно, И случайно читаем в сердцах, Что у каждого грустная тайна Утонула в веселых глазах.

Ну, а дальше? Там снег и ненастье, И конца не увидеть в пути. Дай мне милую ручку на счастье! Если надо прощать, то прости.



Ю. А. Завадскому

Инфанты бледные с точеными руками, Горбатых карликов выслушивая лесть, Уже солгали вы невинными устами И в книге спрятанной прочли о смерти весть.

Большие девочки, узнавшие так много, С глазами мучениц, идущих за Христом; Вы — сестры Золушки, вы просите у Бога Послать Вам вестника с хрустальным башмачком.

Завивши локоны и пудреные букли, Зачем следите вы, как падает звезда? О чем вы плачете — о жизни или кукле? День Благовещенья не минет никогда.

Мой ржавый меч — любовь. Кто знает меч чудесней? Ты споришь? Так пускай сам Бог рассудит нас. И если надо жить — я знаю много песен, А если умереть... споем и в смертный час.

Я в этот мир пришел, как на турнир великий. Мой самый первый тост — за прелесть юных жен. Второй — товарищам моей отваги дикой. И третий — за того, кто нами был прощен.

Когда придет пора, когда настанет битва, Когда прольется кровь за наш Ерусалим, — Тогда припомню я, что есть еще молитва И что крестовый меч в грозе неопалим.

А нынче пусть в вино подмешана отрава! Я первый посмеюсь над песней нищеты, Над папою святым, под мессою гнусавой, Над тем, что я люблю и что не любишь Ты.

Решение

Так. Есть огонь свободы и разлуки Среди огней судьбины огневой. Есть долгий путь, есть светоч полевой. Ты строишь жизнь? Прими же грусть и муки.

Так. Не удержишь ласковые руки, И некому сказать «навеки твой». Пусть каждый сам торгуется с судьбой. Мы все одни. Нет круговой поруки.

Для юности — влюбленность и отвага. Для матерей — испытанная боль. Для Гамлета — отравленная ппага. У каждого написанная роль.

А кто же ты? Ты хочешь знать? Изволь! Ты — сотый островок Архипелага.

А Пиппа пляшет

Она приходит в быстром танце И, пролетая в снежной мгле, То глянет в зимнее оконце, То припадет опять к земле.

Она постигнет без усилья, Она раздвинет небеса; У ней серебряные крылья И дымно-серые глаза.

А под плащом кинжал отваги. И так ведется издавна, Что кубок огнехмельной браги Подаст сраженному она.

И перед смертью поцелует. Не слишком поздно ли? Так что ж. Пусть каждый верит и тоскует! Когда придет, тогда поймешь.

Двое

Король забавляется песней, И вот по веселым дорогам Сзывают на праздник рога.

Король забавляется славой — И вот по стране деревенской Сзывают на битву рога.

Король забавляется страстью, — И вот о печальной невесте Рокочут глухие рога.

Поэт забавляется песней, — Бродягам и всем, кто захочет, Подарит он спьяну стихи.

Поэт забавляется славой, — А друга увидит, тот спросит: Когда же издашь ты стихи?

Поэт забавляется страстью... Поймете вы все остальное, Прочтя остальные стихи.

Так она богата

У Смерти есть свой хриплый рог. Ты знаешь песни обреченных — Больных, испуганных, влюбленных На перепутиях дорог.

У Смерти есть свои герольды, Падучих звезд несчетный рой, Кристаллы слез, что жгут порой, И злые горные кобольды.

У Смерти есть своя страна, Где по ночам бушует вьюга И где единственного друга Душа узнать осуждена.

Самый живой и самый странный Товарищ моего пути! Ты глянешь девою желанной, Ты ранишь болью несказанной, Ты манишь светом впереди.

Грустишь — и вон идут заботы. Уснешь — и тянутся года. А засмеешься — канут годы, Но я еще не знаю, кто ты, И не узнаю никогда.

Я только слышу в пирном блеске, В разгаре танцев и утех Твой крик — магический и резкий, То песню траурной Франчески, То Коломбины звонкий смех.

О, пой! Вонзай в меня измену! За то, что я больной и злой, За то, что я покорен плену, Что я из книг построил стены Между твоим лицом и мной!

Пробуждение

Никогда тебя я не увижу, Никогда не встречу на земле. Только будут ангелы все ниже Пролетать за окнами во мгле... Ах, как грустно. И никто не знает, И никто не может утешать. Только видит: время ускользает И грустит взволнованная мать. Я пройду, как все мы, не оставив На пути и малого следа, И мечты о женщинах и славе Канут в мир, как падает звезда. Злая боль снедает дни и годы, Я навеки Твой. А Ты — ничья. И в лицо безжалостной природы Брошен поздний вызов: это — я.

Твердость

И я не знаю кто я. Быть может, сновиденье, И чей-то знак... Но чей? Но все мои владенья и все пережитое, И грезы всех ночей

Я отдаю за твердость, за правду о грядущем, За разговор с судьбой.

Я отвергаю гордость. Я не хочу быть лучшим. Я буду сам собой.



Юность

Пройти метель судьбы и полдень райских роз, Пройти подземный мрак и райскую дорогу, Искать Ее везде, молиться Ей и Богу И в строфы претворить магический вопрос.

И знать: Она простит. И давнюю тревогу Волшебно отведет от набежавших слез. И в медном золоте струящихся волос Припомнит наконец и Имя, и Дорогу.

Но это там, в конце... Крестовый путь в начале. Мой рдяный Солнцебог не перешел зенит. И струны, что поют, о главном умолчали.

И стаи кораблей томятся на причале... Но если надо плыть — под ветром зазвенит И будет парусом струна моей печали.

Коломбина

Вы думали, Пьеро, что это только поза? И вы поверили, что я всегда лгала? И вы не видели, как расцветала роза, Как в сердце нищее вся нежность низошла?

Вы не могли любить, в мою любовь не веря. Так знайте: я лгала, я не любила вас. Не правда ли, Пьеро, ничтожная потеря — Вы все предвидели? Вы ждали этот час?

Вы жалкий трус, Пьеро... Веселый от безделья, И дерзкий оттого, что слишком я нежна. Я разгадала вас: вам надобно похмелье, Но что же делать нам, коль в кубке нет вина?

Я ухожу от вас. Я — только Коломбина. Я отдаю любовь за страсть, за знойный взгляд. Кто больше даст монет, кто больше серенад Споет мне под окном, тот будет Арлекином!

Пверо умирает

Больше не надо грусти Я ухожу за ней. Что же, простимся скорей Без необычных напутствий.

Разве не все вам равно — Встретить на улице друга Или услышать, как вьюга Будет стучаться в окно.

Это зовется у вас Смертью печальной и гадкой. Или туманной загадкой, Или безумством на час.

Я попрошу, как друга, В смерти моей не винить И поскорее забыть, Что написал вам стихи я.

Там в тишине гробовой Я посмеюсь над минувшим. Чтобы казаться уснувшим, Выставлю нос восковой.

Только, друзья мои, знайте: Я ворочусь поутру Кончить ночную игру... Эй, Коломбина! Прощайте!

Прильнул бы к алмазному кубку И выпил бы всю до дна, Тебя, золотая весна.

Но счастье неверно и хрупко. И каждая встреча, как сон. И я ни в кого не влюблен.

Мне хочется кубок алмазный В далекое море швырнуть: Пускай найдет кто-нибудь.

Мне хочется сон неотвязный Другой, не твоей красоты — Бросить, как брошена ты. 1915

Все в той же позе, с той же бедной розой Стоит всю ночь, одна, у фонаря. Мой старый дом приснился ей угрозой, И ей другие видятся края. И полночь бьет тоскливыми руками И бьет, и бьет в свой бубен дождевой. И тяжело висят под облаками Весенний дождь и город роковой. И снится ей, и снится ей, и снится Все тот же сон. И ждет она всю ночь. Она уйдет и в дверь не постучится. О, если бы я понял, как помочь! 1915–1916

Была ли правда суждена Или обман зеркал, — Но я поверил: вот она! Но почему же так бледна, И ту ли я искал?

Потом нехитрую игру Я разгадал, как все. И были письма поутру, И были встречи ввечеру За парком, на росе.

Когда мы встретимся теперь, Не закрывай лицо, Не запирай плотнее дверь: Я не спрошу тебя, поверь, Про новое кольцо.

Осень — зима 1915

Я к истине твоей не приспособлен. Ну что же в том, что наша жизнь — игра, Что лучший друг актеру уподоблен, Что мы умрем, когда придет пора.

Пускай умрем, но нынче — Бог свидетель! — Твой поцелуй дороже истин всех. И я готов простить и добродетель, Чтобы понять, что значит смертный грех. 1915



Я видел океан неукротимой Воли И Бога — в рубище прекрасной нищеты И понял, что туда, где обитаешь Ты, Не будет выхода из жизненной неволи.

И был я изведен в неведомое поле, Где сонмы звезд рождались из мечты. Шли дни. Ты плакала от гордости и боли. Я громко звал Тебя. Не откликалась Ты.

Мне рассказала жизнь всю правду: Ты ушла. Ты — дьявольская ложь. Ты — злое наважденье. Ты — бред. Ты — детский сон. Ты мне всегда лгала.

В земной обители ты — смерти отраженье. Никто не звал Тебя! Зачем судьба свела Меня в моем пути с Твоею страшной тенью? Октябрь — декабрь 1915

Последнее

Я написал свои стихи. Похвалите за усердье И увенчайте их Нечаянной смертью.

Вы, господин Бог, Бываете очень милым, Когда уносят гроб Говорят: спи с миром.

Какой же я дурак!
Все думал: счастья нет ли?
И вместо невесты — трап,
И вместо свадьбы — петля.

Бог дал мне в эти дни Непосильную задачу. Разве это стихи? Это я плачу.

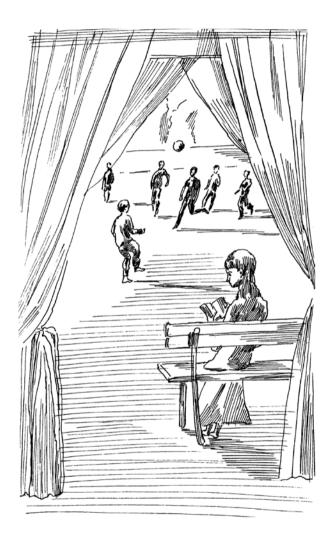
СТИХИ 1916-1917 ГОДОВ

* * *

Гимназический двор. Весна. Желтый флаг у футбольных ворот. На далекой скамейке она Повторяет свой перевод.

Exegi monument'*
Повторяет и пишет в тетради.
А теперь я студент,
А она живет в Петрограде.

^{*} Я воздвиг памятник (лат.) — строка из оды Горация (65—8 до н. э.), поэта золотого века древнеримской литературы. Выражение «Exegi monument» Антокольский сократил для рифмы и ритма стиха, отметив это апострофом.



Далеко это было где-то. А быть может, вчера? Золотое, детское лето, А потом зима, доктора...

И за окнами — гулкий и страшный Дождевой перезвон. Словно рушится день вчерашний И трещит деревянный балкон.

На этом балконе дядя Рисовал много раз. Мне было пять лет, а Надя Только что родилась.

Весна 1916

Что значит год? Спроси у книг — И числа станут в ряд. Спроси у звезд — ответят, миг! А люди связками вериг Печально загремят. А что ответит сердце мне? А сердце не заплачет. А сердце вспомнит о весне, А остальное — спрячет. Расскажет, как разбил апрель Стакан, шипя и пенясь, Как проходил февральский хмель И как играл я в теннис. Что значит год? Что значит час? О чем томится грудь? Не надо спрашивать сейчас: Поймем когда-нибудь. И все стремительней рассказ, Все дальше, дальше путь.

Ни Данта медного рассказ неумолимый, Ни слезы Гамлета о бренности земной, Ни хоровод времен, ни голос твой любимый Не могут разомкнуть моей темницы злой. Я слишком долго спал среди томов тяжелых. Ты двери заперла и, не отдав ключа, Ушла, когда я спал. А в городе веселых Не плачут, а поют — или еще молчат. Когда проснулся я и посмотрел на солнце, Давно к заутрене пропели петухи. Я вспомнил про тебя, открыл мое оконце И свой последний сон переложил в стихи.

Новый год — это новое счастье. Новый год — это тоже весна. Это, может быть, Ваше участье, Ваша роза в бокале вина. Новый год — это голос метели. Это ночь, что должна быть светла. Это, может быть, праздник без цели. Это, может быть, все-таки мгла. Новый Год — это снова изгнанье. Это — знак, что уходят года. Это, может быть, напоминанье, Что я Вас не найду никогда.

Л. Антокольскому

Мы живем. Мы проходим во сне Мимо древних церквей, мимо башен, Мимо ваших селений и пашен И тоскуем о нашей стране.

О полях золотого Сарона, О веках, что гремя отошли, И о девушках, что умерли, И о песнях царя Соломона.

Мы умрем. Мы пройдем мимо вас, Как забытая вечность. Но каждый Обернется взглянуть хоть однажды В непроглядную мглу наших глаз.

Я знаю дьявольское чудо Раскаянья во всем. Я слышал голоса оттуда, Куда мы все идем.

А то, что я люблю смеяться, Что я сжигаю дни... О, Боже! Бедного паяца За это не казни.

Я не хочу служить как надо: Молиться по утрам, Гулять по маленькому саду И украшать Твой храм.

И слаще всякого виденья Есть у меня мечты, Что посетишь мои владенья Когда-нибудь и ты.

Я приглашу Тебя, наверно, На свой последний пир. И расскажу о том, что скверно Устроен этот мир.

Т. С. Игумновой

Она жила. Она звалась Татьяна. Давным-давно она в земле сырой. Она пришла из зимнего тумана, Из вымысла старинного романа И пела песни с русою сестрой.

Она любила святки и гаданья, И санок бег, и лепет бубенца. Всю жизнь ждала. Сбылись ли ожиданья? Чего ждала? Какое обещанье Сплелось с тоской венчального кольца?

Вы, девушки, чьи песни в снежной вьюге Напомнят нам ее любовь и грусть, Молитесь за нее в девичьем круге, Молитесь ей, царевне и подруге, Ее слова читая наизусть.

12 января 1916

Есть знаки времени. Есть голоса пространства. Незримых пла́меней великий переклик. Есть в каждом атоме — живое постоянство, За каждым откликом — невидимый двойник.

Вода текучая струится и смеется, И вьюга путников зовет по вечерам, И плачет девушка у темного колодца, И гость неведомый стучится в Божий храм.

И тайной мудрости, и тайных соответствий Душа исполнившись, в кого-то влюблена. И дни сплетаются как будто в раннем детстве, И в небе утреннем опять голубизна.

Чурлёнис шел по Млечному Пути. Он увидал рожденье звездной бури. И ангелы из золотой лазури К его ногам пытались снизойти.

И говор волн, и рокот струн еще В его ушах звучали наважденьем, Но чей-то голос окрылил плечо, Раздвинув мрак внезапным пробужденьем.

И он сошел зачем-то в этот мир, И в заревах Любви и Созерцанья Он повторил Искусством мирозданье И со́звал нас на свой богатый пир. Идите все смотреть его картины И в символах прочтите до конца: Художник — путь. Но этот путь единый, Единый путь распятья и венца.

Как много вас сопплось: король с клюкой высокой, Сестрица Золушка, горбун и гробовщик И в саване Пьеро, обманутый жестоко, И даже вы пришли с лорнетом, Дама Пик. И каждый говорит. И каждый — мой двойник. И каждый тянется из книжного истока, А самого меня — нет под звездою Рока. И я уже никто — ни мальчик, ни старик. А вдруг я все пойму? А вдруг когда-нибудь В глухой полуночи я буду пробужден Твоим смычком, глухой скрипач туберкулеза? И все нелепей сон. Все дальше, дальше путь. В моих руках кинжал. Но это только сон. И этот сон — не сон, а только чья-то поза.

Я глупый и пьяный матрос, Попавший на остров колдуньи, Тоскующий в зарослях роз О родине в ночь новолунья. Я — школьник, не спавший всю ночь Над томом Шекспира иль Данте, Я знал королевскую дочь, Я — карлик, влюбленный в инфанту. Я — брат, позабывший сестру И тайный обет расставанья. Я скоро, наверно, умру В каком-то семейном преданье.

Благовещенье

Под легким флером так бледна И так мучительно прекрасна, Святому чуду не причастна, Она в мечты погружена.

А там, за окнами стоит Позолоченная карета. И он, пришлец иного света, Всю ночь поет, всю ночь не спит.

Алеет роза в волосах. Ей снится вальс в знакомой зале. И синий ангел у рояля Над ней склоняется в слезах.

Я искал тебя так долго в городах, домах и башнях. Я весеннюю балладу перечел двенадцать раз. Но скользили незнакомки между замыслов вчерашних И напрасно, словно шпаги, расходились встречи глаз.

Я ищу тебя упорно. Я смотрю в глаза всем встречным. Если можешь мне ответить, если хочешь — выходи. Если хочешь, буду умным, буду пьяным и беспечным И каким тебе угодно, — все равно я здесь один.

Как назвать тебя — не помню. Как порадовать — не знаю. Как понять твой голос томный — не узнаю никогда. Вижу стены, а над ними спит, как демон, полночь злая. И летят в ночную пропасть, словно во́роны, года.

Муза! Ты будешь всю ночь, Будешь всю ночь за окном Петь об олном. Муза! Ты можешь помочь? Видишь, — я выстроил вновь Злую любовь. Видишь, я выстроил стены, В небо ушли перспективы, Старые строфы мои. Пенятся звездные пены. Треплются конские гривы. В гавани спят корабли. Выше подняться не смею. Дальше увидеть нельзя мне. Крикну я громче — умру. Крут поворот галереи. Там, на кладбищенском камне Скоро увижу сестру. Муза! Постройка готова — Темное, злое жилье. Жду я заветного слова, Скажешь, посмотришь, — и снова Рушится царство мое.

В личине бесподобного дендизма, В наряде Арлекина, в гранях призм, В твоих затеях — горечь гамлетизма И этот путь — живой анахронизм.

Все, что слова еще сказать не смеют, Расскажет взгляд, тоскующий и злой. Но час придет, — ведь на земле стареют, — И ты поймень, что значит быть собой.

Но раньше — сделай все, что начертала Твоя судьба. И пей бокал до дна. Таким, как ты, раздумье не пристало, Хотя бы звал к раздумью Сатана.



Каждый раз сознавать: это сон. Каждый раз. Там нам мир утвержден. Много весен пройти, много лет И увидеть, что лучшего нет.

И веселая встреча в пути, И последнее эхо «прости», И воскресное утро в снегу, И паступья свирель на лугу.

И убогое в поле жилье, И закат, и корабль, и копье — Это сон. Он зовется судьбой ...И звонит, убегая, прибой.

Дальше гордо возносится сон. И шипит, издыхая, дракон, И мечами туман раздвоен, И лучами герой ослеплен.

Знойный день и ленивая ночь — Все звонит и уносится прочь, И часы наблюдают свой путь. ... Ни проснуться, ни встать, ни вздохнуть.

Там, в звездных пролетах испуганной Ночи Весь — в изломе закинутых, сдвинутых рук, Кто танцуя ликует и целуя хохочет И протяжно звенит, как натянутый лук?

Убегает и вновь настигает по кругу, Рассыпает по звездному лугу цветы — Мой веселый товарищ! Арлекин — это ты? Я узнал — это ты! Я узнал и подругу.

Только мне не придется быть с вами, поверь! Поплящите свой танец полуночный оба. А Пьеро даже плакать не смеет теперь, Даже пикнуть не смеет из черного гроба.

Ее глаза как два меча
Из крови и железа.
Коня пришпорив сгоряча,
Летит по Городу, крича, —
И в крике — Марсельеза.

Когда она кричит назад:
— Гей, кто нас ждет у входа?
Звончее песни, ярче взгляд
И гул народных баррикад
Ответствует: Свобода!

И, опьянев как от вина
В ее кровавом свете,
Испепеленная страна
Главу склоняет, влюблена
В любовницу столетий.

Пройти сквозь строй веков, сквозь тысячи обличий И в каждом зеркале свой образ отразить. В Татьяне Лариной, в Изольде, в Беатриче Мгновенной нежностью кому-то просквозить. В высоком терему, в мансарде ли поэта, В бреду ли города или в лесу зимой Понять вы можете: мне снилась только эта. И вдруг почувствовать, что вы пришли домой. Не знаю, почему, но знаю — это будет. Не знаю, как мне жить. Но если надо жить, То всею памятью о невозвратном чуде, Всем взрослым мужеством тебе одной служить.

Эту песенку для Вас Десять раз повторим И за первенство не раз С Вами мы поспорим. Если начал жить, не плач: Горя не умалишь. Будет много неудач А весна одна лишь. В путь-дорогу в добрый час! Юность канет тенью, Бог печалится о нас И дает забвенье. Ваше светлое крыльцо Там, за синим морем. Ветер снежный! Дуй в лицо. Мы еще поспорим!

Свадьба

Воспоминаньем не волнуй! Я вспомнил все зараз — И долгий, долгий поцелуй, И блеск огромных глаз.

Я вспомнил локон золотой И дрожь склоненных плеч, И там во мгле обет святой, И пламя желтых свеч.

И дождь, и мрак, и стук колес, И черный лак карет, И недосказанный вопрос, И твой глухой ответ.

Я вспомнил страшный взгляд — туда, В слепую мглу судьбы. И страшный отклик: навсегда, Да, навсегда рабы.

Городская ночь

Глазами роют мрак И крыльями сметают Созвездья, что ни шаг, И в звездах смерть читают. И в черни смерть сквозит. И стая ливней звездных Над Городом висит Во мгле ночей морозных. Но трубы зорь смелей, И кажется, что некто На черноту полей Направил свой прожектор. И вольтова дуга Гигантским силуэтом Сквозь синие снега Мерцает в небе этом. И сотни лун зажглись, И сотни душ астральных Во мгле отозвались На трубы зорь венчальных.

Зачем ты приходишь? — Проститься. Куда ты уходишь? — Туда. Мне страшно с тобою, сестрица. О чем ты смеешься всегда?

И полночь тупыми шагами По улице скачет вперед. И девочка злыми глазами Следит, не настал ли черед.

Она не поверит счастливым. Ей светлая жизнь не нужна. Не глянет и в очи красивым И добрым не будет верна.

И только ко мне постучится Спокойно, как царская дочь, И снится так странно, и снится, И снится мне каждую ночь.

И снится мне путь небывалый Сквозь вьюгу на черном коне И память о жизни удалой Проходит в замерзшем окне.

И вот опять, и вот опять, И вот опять я в этом мире, И вот опять на звонкой лире Я смею струны оборвать.

И ты смеешься мне в лицо И, не расслышав бред невнятный, Опять уходишь безвозвратно, Бросая старое кольцо.

И нет конца, и нет конца, И нет конца веселым кликам, И мне в моем томленье диком Не разглядеть еще лица.

Но это будет впереди. Пока слова не отзвучали, Мой друг, внимай мне, как вначале И в шумный мир слепца веди.

Ты в хме́льном запахе полуденных мимоз, В далеком топоте военной кавалькады, В закатном зареве и в пенье серенады И в медном золоте струящихся волос.

Ты — профиль паруса, скользящего во мгле, Ты — песня странника, ты — снежная долина, Ты — преклоненная Мария Магдалина, Ты — ангел, плачущий на небе о земле.

Ты можешь радовать, ты можешь снизойти, Ты можешь встретиться на улице однажды И ранить милостью. И обернется каждый, И будет ждать тебя еще раз на пути.

Но все, то прожито, является, как знак, И учит мудрости и шепчет нам молитвы. И сердце вещее, как будто после битвы, В слепом отчаяньи глядит в окрестный мрак.

Он всю ночь стоит у изголовья, Сильный отрок с луком золотым. Он поет и шепчет. А над ним Радуга, зажженная любовью.

— Дева слабая! Ты видишь крест, На груди — серебряные латы, На щите — хранитель твой крылатый И венец над полем зимних звезд.

Лишь к утру сомкнула ты ресницы. Меч в деснице ярко запылал. По земле цветущей ускакал В новый путь возлюбленный и рыцарь.

Заиграла доблестная кровь. В судный час его последней битвы Стали башнями твои молитвы И щитом — бессмертная любовь.

Она придет в последней вьюге С кошницами бессмертных роз, На звенья кованой кольчуги Рассыпав золото волос.

И меч скользнет в руке кровавой, И упадет Тангейзер ниц Перед невинной и лукавой, Пред самой сильной из цариц.

Ее победам — славословье Все менестрели запоют, И мощь ее одни любовью, Другие смертью назовут.

Вы считаете меня очень злым И очень слабым? Вы думаете, что я совершенно, Совершенно ничего не вижу? Вы не верите моим словам? И Вам кажется, что Вы победили?

О, если бы Вы только знали, Как мне иногда смешно Видеть насквозь Ваше сердце И знать, что мне его не надо.

Он крепко спит, когда они смеются И строят города и пьют вино. Но если станет в комнате темно, Все призраки волшебно обернутся И улетят, как вороны, в окно.

Сквозь все часы, сквозь сумрак и безделье Проносит он свой панцирь золотой, Беседуя с тобою и со мной Как тайный друг, ушедший от веселья, Как некий ангел с девочкой простой.

И дни идут. И рушатся мгновенья В подвалы лет легко и тяжело. И зорок взор. И вновь горит свеча, И пенится, меняя направленье, Подвластное и злое ремесло.

Такой, как все они: ни стар, ни молод, Последний в роде, самый худший внук Каким-то знаньем дьявольским расколот И чей-то враг, а может быть, и друг.

А надо жить — рыдать или смеяться. Идти с своей котомкой в пустоту. В лохмотьях сумасшедшего паяца Встречать чужие свадьбы на мосту.

И надо ждать всю ночь у изголовья Обещанного ангела к себе, И надо бросить кости, чтобы кровью Платить за каждый проигрыш судьбе.

О, если бы я мог узнать наверно! О, если бы не знал я ничего! Ты слышишь, Бог? Меня Ты создал скверно — Подумаешь, какое торжество...

Ave Maria

В смуглом окладе тяжелого злата уснула. Спит и Младенец в божественно тонких руках. Вечность ли в синие очи ее заглянула, Ночь ли уснула в тяжелых и скорбных шелках.

Трубные звуки промчались по царствам, подъемля Ржавые латы усталых и мертвых бойцов. Трубные звуки примчались в заморские земли, Алые зори послали навстречу гонцов.

Вспыхнули розы, как свечи. И старые раны Стали, как розы, цвести и лучиться во мгле. Там, на Востоке, пришли пилигримы — туманы. Рыцари Девы увидели скорбь на земле.



Крестовый поход

Пречистая Дева над нами Возникнет во мраке пустынь. Печальное мужество — знамя. Навеки веков — Аминь.

На севере грезят спокойно Соборы и раки святых, И говор народа нестройный В тавернах и замках затих.

И с севера ветер нагонит Осенних и жалобных птиц, И встанет, как вождь, и застонет, И сдвинет громады бойниц.

И там, у гробницы Танкреда, Услышав бескрылый набат, Холодная злая победа Оглянется, плача, назад.

О, Муза, причудница мрака, О, трижды святая весна! Ты ждешь ли случайного знака? Ты будешь ли снова верна?

Ты так приближаешься странно, То глянешь, то снова уйдешь, То ранишь мечтой несказа́нной, То глупые песни поешь.

А я и позвать не умею. Не смею догнать на коне Тебя, златокудрую фею, Тебя, обрученную мне.

Я еду совсем без дороги И снова — в дремучем лесу, И снова, седой и убогий, Разбитую куклу несу.

Что мне день? Колодцы неба в тучах, Да несколько смеющихся минут, Да сказочки и песни дней ползучих — И я один, как брошенный лоскут.

И вот и все... Но жизнь еще достроит Нелепый дом и всунет в руки нож И, лепеча: игра свечей не стоит, Оденет в пурпур горестную ложь,

Преобразив в раскаянье коварство И потеряв заветные ключи, Потом шепнет: вот это — наше царство. Ты понял все? Ты хочешь жить? Молчи...

Я вынул из подвала ржавый меч, Картонный шлем на глупый лоб надвинул И вышел в путь искать веселых встреч, Как это подобает паладину.

И хлещет дождь. И бьется за спиной Пустая и дырявая котомка. А на груди — цветочек полевой, Печальный герб, понятный и ребенку.

Вы встретили меня у фонаря, Когда ушли от сумрачной обедни. О, жизнь моя! О, нищая заря! Пустые, романтические бредни.

Вот и умер. Лежу под покровом. Так ехидно белеет рука, А о прошлом — не надо ни слова: Все равно ваша участь легка.

Все равно не поймете вы, люди, Да и стоит ли это понять. Если вспомнишь, скорей позабудешь; Погрустивши, отвыкнешь опять.

А вот та, что не ждет панихиды, Эта барышня в белом платке, Пусть уронит от горькой обиды Дорогую слезинку в тоске...

Ю. Завадскому

Голубеет, розовеет серпантин. Убегает, наступает Арлекин.

Там, по водам зеленеющих лагун Рокотанье, воркованье нежных струн.

Перелеты бело-сизых голубиц. Переклички карнавальных верениц.

Серенада Арлекина не нова Точно так же, как святая синева.

Точно так же, как цветенье красных роз В черном пламени рассыпавшихся кос.

Дай мне крепкий замок, дай земную славу, Золотую ризу, кованый колчан. Дай для злого друга смертную отраву И для битвы правой черный талисман.

Дай мне в жены деву из страны великой, Стройную, как тополь, светлую, как Ты. Дай мне кубок хмельный после схватки дикой И в придачу лютню для моей мечты.

Дай мне бремя страсти, дай венец терновый, Символ искупленья, горькое вино. И еще — смиренье перед книгой новой, Перед всем, что было и что суждено.

Я только исполняю свой обет. Я слушаю спокойно и бесцельно И голоса, и свист летящих лет, И песни звезд, и грохот подземельный, И говор дня, и полунощный бред, И звон мечей, и звон тоски свирельной.

К чему я притворяюсь вновь и вновь? Зачем я помню все, что здесь случится? Зачем я претворяю плоть и кровь, Игру и боль, и ночи, и денницы, Все золото и всю мою любовь В венок из черных слов — в мои страницы? Весна 1916

Смейся со мною на свадьбе, на тризне. Я ведь бродяга такой же, как ты. Что нам осталось от прожитой жизни, Шумной дороги и детской мечты?

Что нам осталось? Венок отреченья, Жалкое имя шута... А потом Где-то, быть может, за гробом — прощенье И возвращенье в родительский дом.

Разве над нищими сжалится Небо? Разве укроет от злого дождя? Смейся. За это подарят нам хлеба И не побыот, уходя.

Странное бремя дала мне судьба. Это не серп и не заступ раба. Это не меч, и не крест, и не лук, Даже не флейта — серебряный друг.

Мечется что-то в ночной тишине. Чается что-то в седой старине. Пестрое, глупое платье шута. Алые, злые, кривые уста.

Детская кукла и отблеск ножа. Просьба о чуде и крах мятежа. Странное бремя... Как будто во мне Тысячи глаз, незакрытых во сне.

Тысячи жизней и тысяча ран. Тысячи копий, пронзивших туман. Тысячи добрых и злых голосов, С дикою песней идущих на зов.

Я счет забыл. Я помню слишком пылко: Здесь встретились, здесь покупали торт, Здесь был цветок, а там цвела могилка, Тут поцелуй, а тут вмешался черт.

И много глаз открылось там, где числа Должны стоять. И тем слабей актив. Тем менее в несчастных строфах смысла И твердости — в сплетеньи перспектив.

Шатаются бездомные зигзаги Не отраженных зеркалом лучей. И сообщает карандаш бумаге, Что на поэта вышел казначей.

Лето 1916. Село Барвиха

Улица. Осень. В ночи Не воплощается некто. Ищут и бродят лучи, Неразложимые в спектр. Ветер шатался весь день, Нагло подслушивал речи, Кинул крылатую тень На твои узкие плечи. Выросли крылья. Прости! Кончено, выпито детство. Рваная туча в пути — Вечное наше наследство.

Два голоса поют у старого рояля,
Заглушены слегка ненастьями портьер:
— Слыхали ль вы? О, нет! Вы больше не слыхали.
Мы пели до утра, и сторож запер сквер.
Пьем небо желтое из хрупкого стакана.
Нам снится хладный мех и хладные духи.
И снятся главы нам прочтенного романа.
И снится, как слова слагаются в стихи.
Пьем небо дымное, пьем золотую горечь
Высоких куполов, бессильный ветер пьем,
Пьем черноту и гром, и скуку людных сборищ.
Ухолит молодость, но мы еще поем.

Из тысячи зеркал ты улыбалась мне, Мечтая, может быть, о невозможной встрече. И я искал тебя в моем притворном сне, А наяву слагал слова противоречий. О, если б знала ты, как мне теперь смешно Смотреть в твои глаза, не отрывая взгляда, И помнить про себя, что мне давным-давно Ни жизни, ни тебя, ни глаз твоих не надо.

Плоскогорьями крыш убаюкай, Убаюкай вокзальным гудком, Усыпи августовской разлукой Под клеенчатым черным дождем, Чтоб засохли чернильные бредни, Чтобы плачущий голос затих, Чтобы был недописан последний Лучший стих.

Город, веселый рассказчик, Черная птица Судьбы — Сунем-ка в сломанный ящик Песню заво́дской трубы!

Валик за валиком — годы Вьется пружина, крутясь. Бурый брезент непогоды — Воды — да грязь.

Эх, нагадала мне осень Новую, взрослую ложь. Осень! Милости просим. Больше меня не тревожь.

Я обезглавлен на Страстной Неделе. Шел мокрый снег. И в пять часов утра Ко мне пришли защитники, сидели, Пока я сам им не сказал: «Пора»! Жена мне обещала: «Не забуду». Вертлявый ксендз латынью щегольнул, — Все убеждал, что надо верить чуду И, кажется, не очень обманул. Что было после, — к сожаленью, тайна. Я только исполнительный актер. Я только тень. Я молод чрезвычайно: Мне двадцать лет осталось до сих пор. По облакам, пурпуровым и снежным, Я прохожу с кровавой головой. Из ангелов — кто будет самым нежным? Кто раздробит мой панцирь гробовой? И снится мне — недалеко от пели — Нахлынет свет — и кончится игра. Я обезглавлен на Страстной Неделе, На площади Мадонны, в шесть утра.

Все часы остановились сразу И затем, хрипя, пошли обратно. Стало в городе светло для глаза. И сердцам просторно и приятно. Расступились улички кривые. Люди не хотели шевелиться. Подняли, как куклы восковые, Руки вверх. И улыбались лица. Только кто-то, на меня похожий, Закричал, затопал каблуками: У него украли финский ножик И тетрадь со скверными стихами.

Черный снег летает рядом тише сов. Циферблаты электрических часов Расцвели на лысых клумбах площадей. Перекушен храп ленивых лошадей. С полумесяцем турецким наверху Ночь тепла, как одеяло на пуху. Проезжает на извозчике глупец Он не знает, кто он — книга или чтец.

Оттого, что пустынно на каменной площади Рока, Оттого, что я встретил лишь тень, а до Бога высоко. Оттого, что я сам своего объезжаю коня, Оттого, что собачий кортеж провожает меня, Оттого, что мне странно, что младость уходит навеки, Помолись обо мне, собеседнике и человеке.

Облака под мертвым ветром загибались, Расходились в замогильной сарабанде. Вырастали многоярусные кубы И слезились в переулках фонари. И прохожие друг другу улыбались. И сходились шулера́ в ночные клубы. И сдвигались по неведомой команде Длинных ве́черов линючие драпри. А идущий вечер выглядел сутулым Музыкантом в старомодной разлетайке. И казалось — и казалось — он тоскует, Пьяный в облаке — в квадратном кабачке. Встанет — крякнет — брякнет о пол стулом И, быть может, — и, быть может, без утайки Длинноногой тени спьяну растолкует, Как натягивают струны на смычке.

Город. Ночь. Проходят облака. Фонари чадят и догорают. Эту повесть завтра доиграют Наши тени, пьяные слегка. Кто за нас достроит наши зданья, Новые построит города? Ничего мы не узнаем никогда. Дорогие горожане, до свиданья!

Врывается загнанный бунт В ночные заздравные тосты. Над ходом веков и секунд Висят равнодушные звезды, А мы под плащом кутежа Не знаем, куда нам деваться. А сердце стучит дребезжа, Не хочет еще разорваться.



Как древле веницейский дож Килал кольно, залог безмолвный, В Адриатические волны, Обуздывая их кутеж. Как в дни разбитых баррикад Измученные демагоги Витийствовали на дороге, Ведущей в тот же старый ад. Так ныне, в первый день весны, Весны Семнадцатого года, Я в криках уличного сброда Твои пытаю глубины. Безграмотный гром телеграмм, Вой человеческого моря, Вы, жилистые руки горя, Беззубый рот, кровавый шрам. Ты — первый встречный человек, На том углу, в четыре ночи, Вы — ненавидящие очи, — Благословляю вас навек.

Панна Марина! Как мне быть с тобой? Сегодня самый ветер не свободен И лижет кольца Панны знаменитой. Что делать мне с латинской ворожбой, Когда вокруг двенадцать тысяч родин И кланяются подло езуиты. Гудят и воют пьяные Кремли. И вот под ветром в облаке вельможном Взыграла соколиная потеха. И я расту, как сон, из-под земли. Я просыпаюсь конюхом острожным. Горит, как Ад, кровавая прореха.

Утрачено главное. Остальное не важно. Что может случиться вновь? Умирая, шипит протяжно Осенняя любовь. О, забавные встречи, Переклички хроматических гамм! Вы не смеете противоречить Совершенно сухим глазам!

СТИХИ 1917 ГОДА

* * *

Юность подходит к дымным ущельям. Юность глядится в зеркало вод.

Стянуто горло злым ожерельем. Скукой кривится дрогнувший рот.

Ветер отпрянул. Плащ заклубился. Взор раздирает мертвую ночь.

Что он увидит? Кто наклонился? Просит вернуться? Может помочь?

Всюду измена. Всюду засады. Будь же собою — вот торжество.

Нет и не будет большей награды. Нету молитвы. Нет ничего.

Январь - февраль 1917

Eritis sicut Dii*

У Каждого из Них есть два крыла. Мы наизусть читаем Их дороги, Их мудрые и странные дела, Их обещанье: будете как боги.

Тяжелый круг назначен молодым. Мы знаем все. Нет круговой поруки. Все минется. Клубится черный дым. Они ушли — и умывают руки.

^{*}Будете, как Боги (лат.) — Полностью: ...но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и эло. (Бытие. 3, 5.)

Я не верю ангелочкам, понавешенным на елку. Я не верю умным детям, приносящим в школу ранец, Хитрым, добрым старушонкам, что подсматривают в щелку, Этим феям — режиссерам, вдруг врывающимся

в танец.

Танец злости и удачи ворвался в картонный город, Каждый школьник нож запрятал и торгуется с судьбой. Каждый знает: это снится. Каждый на́двое распорот. И затем — Ora pro nobis!* — обручен с самим собой. Январь — февраль 1917

^{*} Молись за нас (лат.) — цитата из молитвы.

Тапёр приглашен. Приходите, веселый Февраль! И вот дребезжит и брюзжит сумасшедший рояль.

И вот в серпантине запуталась черная тень. Метнулась к окну — а в окне занимается день:

На улицах сонных — тревога, и санки ползут. Бесшумные санки — куда они нас отвезут?

Задушена полночь. Раскинула руки. Лежит. Светлеет окно. До свиданья! Рояль дребезжит.

Сам Одиссей пред Афиной робеет. Гамлет торжественно сходит с ума.

Лучшая девушка дать не умеет Больше того, что имеет сама.

Годы уходят. И где-то гнездятся. В памяти. Или в архиве небес.

Надо еще научиться смеяться. А остальное — распутает бес.

И ты придешь. Коснешься рук свинцовых. Деяния торжественно прочтешь. И на весах созвездий стопудовых Оденешь в пурпур нищенский кутеж.

В последний раз над городом горбатым Промчится ночь и закричит петух. Но разве это надо нам, богатым, Измученным и обращенным в слух?

Но примем мы Твое самоуправство. И если смерть нам выдумаешь Ты, То можешь снова превратить в цветы Там на столах неубранные яства.

Мороз. Гудят под небом провода. Ночь подошла и смотрит прямо в очи.

Она молчит. Но это в стиле Ночи. В ее глазах читаю: Никогда.

Да, никогда. Сегодня и вчера Слились в одно. Так хочет Ночь и Город.

Твой черный огнь, твой беспокойный голод Замкни в слова. И жди. Теперь пора.

Когда каскады толп в пустое небо влезут, И отшатнется страх в простреленном мозгу, И сонмы ангелов затянут Марсельезу, И каждый заорет: «Я — больше — не могу!» —

Тогда простри сюда проколотые руки, Ты, Искупивший мир на миллиарды лет, И черным пафосом надежды и разлуки Раздвинь и искази многоэтажный бред.

Мы все в одной цепи. Но мы тебя забыли. Пируя в год Чумы, еще поем и пьем Прокисшее вино какой-то страстной были И бредим, опьянев, о Царствии Твоем.

Март — апрель 1917

И вот Она, о Ком мечтали деды И шумно спорили за коньяком, В плаще Жиронды, сквозь снега и беды Вломилась к нам с опущенным штыком.

И призраки гвардейцев-декабристов Над снеговой, над пушкинской Невой Ведут полки под переклик горнистов, Под зычный вой музыки боевой.

Сам Император в бронзовых ботфортах Позвал тебя, Преображенский полк, Когда в разливах улиц распростертых Лихой кларнет метнулся и умолк.

И вспомнил Он, Строитель Чудотворный, Внимая петропавловской пальбе, Тот сумасшедший, странный, непокорный, Тот голос памятный: Ужо Тебе.

Март – апрель 1917

Так спится только молодым: Все беспокойно и бесспорно.

Из детских дней ползет покорно Горнозаводский сизый дым.

Мучительно ползет вода, В желтеющую рябь стекая.

Дождливый мир пересекая, Ползут и стонут поезда.

И все уходит в свой черед. Мой горизонт ножом распорот.

Закат сочится кровью в город. Все остальное — тлен. Вперед.

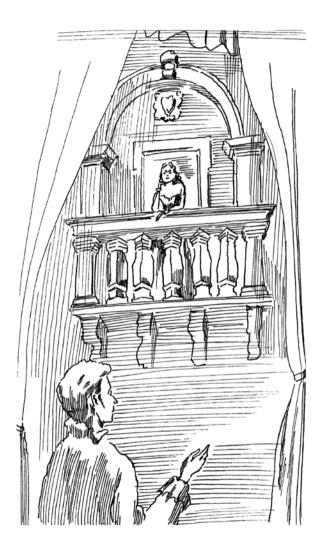
Март — апрель 1917

Chevaleresque*

Приди, золотокудрый дождь! Труби, огромная фанфара! Надуйтесь, трубачи Тоннара! Когда из дальних, дымных рощ К вам донесется ржанье коней — Ма Belle**, будьте на балконе! Есть в жизни много перемен — Но от Зенита до Надира, Хоть объезжай все графства мира, Нет слаще музыки. Амен. Нежней Любви, нужней Грааля Весна труверу Провансаля.

^{*} Рыцарское (фр.).

^{**} Moя красивая (фр.).



Она ушла. А здесь, в тюрьме давнишней, Над грудой роз, преображенных в слово, Я — повторенье, я — поэт, я — лишний, Я — обречен любить. Как это ново!

Зажать в руке горсть золотых секунд. Идти за ней, взметая черный след. Знать и предвидеть не Престол, а Бунт. И умереть. Здесь впредь дороги нет.

Когда с опущенным забралом, Водительница пыльных стад, Она по горным пьедесталам Сойдет, изнемогая, в Ад, — Когда знакомый с колыбели, Крылами старыми звеня, Тот Ангел с ликом Лионеля Поможет ей сойти с коня, — Ты, пролетавшая над бранью, Чью славу пели трубачи, Небес грядущему избранью О свадьбе Девы умолчи.

Осень 1916-1917

Евгению Куммингу

Бесчисленны миры в сиянье старой лампы. Овидий и Шекспир проходят чередой. Гравюры ворожат. И движутся эстампы. И ключ визжит в замке. И спит петух седой.

А книги — сторожа. Твой парк — энглизиро́ван. Но теннис подождет и день, и круглый год, Пока заветный ямб не будет расколдован И не приедет к нам на дачу Дон Кихот.

Вот ребус короля, вот трудная шарада — Слить воедино меч и школьный карандаш. Ах, Женя! Может быть, сама Мадонна рада, Что в рыцарском бреду метался ночью паж.

Давно пора вставать. Весна. Как это дико! Окно. И вербный куст. Густая синева.

Народ — толпится там — на площади великой. Колокола ревут. Ты здесь. И ты жива.

И петухи поют, вонзая в мозг спросонок. И белый дым повис — и дремлет — навсегда.

А где-то жизнь и смерть. Как воздух пуст и звонок. Все это было — Там. И будет — в День Суда.

Март — апрель 1917

Музыка

Ты в летаргии голубой. Твой шаг тревожен и неровен. Но хлынул через край прибой, И вот, дрожа, глухой Бетховен

Провел рукой по волосам... Слабеют колдовские узы, И вторит бешенным часам Та скрипка с головой Медузы.

Летит Ленора в лунный край Искать единственного друга. Теперь гори и не сгорай И бейся в склеп крылами, вьюга!

Горелки

Глянь на небо — заря опоясала Красным золотом свадебный луг. Гори ясно, чтобы не погасло, В голосистом кружале подруг.

Стекленеют ли глазоньки синие? Разметалась ли ветром коса? Погасает ли в синей пустыне Многозвездная злая краса?

Али август звенит у околицы В многотонный и сладкий рожок, Чтобы снились венчальные кольца, Чтобы цвел-расцветал посошок.

Чтобы окна твои занавесила Покосившая пряжа дождя, Чтобы стало ни грустно, ни весело, Чтобы друг засвистел уходя.

Дай мне вспомнить, что Сегодня и Вчера — Только искры разметенного костра. Ты, ключи вонзивший в сердце Часовщик, Пожалей меня за то, что я — старик. Я — твой город на заморском берегу, Паруса твоей Свободы стерегу. Хлещет в мир крылами Друга ураган. Этот ветер — полых раковин орган. Это сердце — дикой флейты голосок. Как бы только не стрельнуть еще в висок.

Твоих ли уст я услыхал молчанье? Струится флер и дышит флореаль, — Но, может быть, всего необычайней Фарфоровое небо и рояль.

Или когда, как флорентийский сокол, Струилось сердце на руку Твою, — Увы! Тогда в поту февральских стекол Окаменел я фавном и стою?

Но если ты даруешь мне терпенье И если память захлестнула Ты, То заглуши бесцельной флейты пенье. На дне фонтана кружатся листы.

Вот осень вновь в разгаре злого пира Сквозь танцы ассонансовых стрекоз Раздвинула туманный сон эфира, И понял я, что есть апофеоз.

Там купола обсерваторий Сверлят нагую грудь небес. Там воплем разрывает зори, Откинув дым со лба, экспресс. Там — коронованный веками И обезглавленный навек, С развинченными позвонками Весну целует человек. Туда — в самопознанье косном Прийти — сказать: навеки Твой. Перед туманом светоносным С простреленною головой.

Март — апрель 1917

Еще надежда не иссякла, Что красный ураган крутя, К созвездью короля Геракла Направит фаэтон Дитя.

Реви во все рога, Природа! Игра достойна свеч, пока Огнепричастьем Кислорода Сильна вожатая рука.

Мраморной глыбой валится гром, Пышную грудь разрывая. В крепкое темя бьет топором Молния сторожевая. Ринулся, хлещет, бьется с листвой Ветер в камзоле атласном. Эх, размахался над головой Факелом смольным и красным. Ветер уходит, сворой волков Воет из вражьего стана. Небо сгорает кровью веков, Словно любовь Тристана.

Димитрий Царевич

Россия! Жги посады и деревни! Я слышу — вновь

Глухим ключом, ключами были древней Взыграла кровь.

Я — Твой Царевич, венчанный судьбиной.Я идиот.

Из Кракова, из Пскова — ястребиный Слежу полет.

И снится мне Московская Держава, Мой страшный путь.

И Царь Иван костыль златой и ржавый Вонзает в грудь.

Явленный лик из Голубиной книги — Мой маестат.

Гудят Кремли во сретенье расстриги, Кнуты свистят.

Анафема! Престольный звон вечерни! Панна! Прости —

Мой выколотый глаз над воем черни, Мой свет в пути.

А. Керенскому

Это верный оплот и награда.
Это — каменный герб Петрограда.
Это — Бирона гнусный каприз.
Это — тройка, летящая вниз
Под яміщицкую пьяную песню.
Это веянье утра: воскресни!
Это голос, безумный от спазм.
Это сорванный энтузиазм.
Это ветер на отмели Невской.
Это злой и святой Достоевский.
Выходи же, Керенский, на смотр.
Ты нам меч. Ты нам Спас. Ты нам Петр.

Июль 1917

Город, как пьяный Царевич, играет Черепом злого шута. Там, на больших площадях, догорает Праздничная пестрота. Там содрогается жизнь поколенья, Пригвождена на ветру. Нам ли у Бога просить исцеленья? Мы прогадали игру.



СТИХИ 1918 ГОДА

Эдмонд Кин

Лондонский ветер срывает мокрый брезент балагана. Низкая сцена. Свечи. Холст размалеван, как мир. Ложи встают горбом. В райке — напор урагана. Гонит за гибелью в небо пьяных актеров Шекспир.

Макбет по вереску мчится. Конь взлетает на воздух. Мокрые пряди волос лезут в больные глаза.

Ведьмы гадают о царствах. Ямб диалогов громоздок. Шест с головой короля торчит, разодрав небеса.

Ведьмы летят и поют. Занавес бедный задвинут. В клочья разорвана страсть. Отхлынул в ночь ураган.

Кассу считает Директор. Полночь. Стол опрокинут. Леди к спутникам жмутся. Заперт пустой балаган.

Зима — весна 1918

Павел Первый

Величанный в литургиях, помазуемый попами, С гайдуком, со звоном, с гиком мчится в страшный Петербург,

По мостам, столетьям, верстам мчится в прошлое, как в память,

И хмельной фельдъегерь трубит в крутень пустозвонных пург.

Самодержец Всероссийский! Что это? Какой державе Сей привиделся курносый и картавый самодур? Или скифские метели, как им приказал Державин, Шли почетным караулом вкруг богоподобных дур? Или, как звездой мальтийской, он самой судьбой отравлен,

Или каркающий голос сорван в мировой войне, Или взор осатанелый остановлен на кентавре Или пудреные букли расплясались по лицу? Фальконетовом, иль пляшет хвост косицы на спине? Нет, еще не все пропало, — бьет Судьбу иная карта, Станет на дыбы Европа ревом полковых музык! Нет, еще не все известно, отчего под вьюгой марта Он империи и смерти синий высунул язык!

1922

Дрожит рука в тугой перчатке. Народ — глазеет на балкон — На эшафот победы шаткий, Где красным палачом — закон. Глаза Отрепьева. Отрывист Твой бред, растоптанный судьбой, Врастающий, летящий вырасти Хлыстом и свистом за тобой. Россия — там. Как будто горло Зажато клокотаньем спазм. Как будто — площадь распростерла Тебе свой плащ — энтузиазм! Ступай — лети — не спи ночами -На фронт — на гибель — в Петроград. Не за твоими ли плечами Бежавший Армии парад. Не за твоей ли наглой славой, Свистя в расколах финских скал, Конь Фальконета медно-ржавый Вниз по проспектам доскакал. Или, быть может, в наши годы Вломился за тобой, лжецом, Со шхуны на дележ Свободы Тот Шкипер с бешеным лицом. И бьет озноб. Поют солдаты. Россия — Там. Она глядит Под плетью Заработной Платы Гудками дикими галдит.

И сорван флаг под ветром серым... Там — в Минске, на Дону — для нас Над безымянным Офицером Штандарт развернут... В добрый час! *Лето* 1918

Петербург. Арка Штаба разбита. Дует ветер над серой Невой. Только покают в полночь копыта По торцовой сухой мостовой. И в каналах в гранитные глыбы Бьется проседь понтонной реки. И в садках заморожены рыбы. И на верфи бущуют станки. Там — Путилово, Сормово, Тула... Там — ремни приводные снуют. Там — как флейты ружейные дула Отвечают на пушек салют. Там — слезящийся глаз карборунта Крик из глотки заводов исторг, Будто радиус Красного Бунта Размахнется в Берлин и в Нью-Йорк. В центре Города — с треском петарды Рассыпаются тени карет. Августейшие кавалергарды Прозевали фельдмаршалский бред. Смотрят вверх площадей истуканы, Видят — флаг, а на флаге — орла. Как последней попойки стаканы, Эрмитажа звенят зеркала. Не глухим гренадером разбужен, Не прощен и солдатским штыком, Павел Первый на призрачный ужин Входит с высунутым языком.

И, вставая сиреной Кронштадтской, Льется бронзовый грохот Петра — Там, где с трубками, в буре кабацкой, Чужестранные спят шкипера.

Лето 1918



Пусть варвары господствуют в столице И во дворцах разбиты зеркала, — Доверил я шифрованной странице Твой старый герб девический — орла.

Когда ползли из Родины на Север И плакали ночные поезда, Я судорожно сжал севильский веер И в черный бунт вернуться опоздал.

Мне надо стать лжецом, как Казанова, Перекричать в палате Мятежей Всех спорщиков — и обернуться снова Мальчишкой и глотателем ножей.

И серебром колец, тобой носимых, Украсить казнь — чужую и мою, — Чтобы в конце последней Пантомимы Была игра разыграна вничью.

И в новой жизни просвистит пергамент, Как тонкий хлыст по лысым головам: Она сегодня не придет в Парламент И разойтись приказывает вам.

1918

Сергею Гольцеву

Всалник Гольпев! С вами Бог и там и тут. Дети в школах не услышат, не прочтут, Как вошел грудной ваш голос в ураган, Как у Дона был насыпан ваш курган. Петергоф, да Кремль октябрьский, да Ростов. В вашей повести не тысяча листов Был на Севере бродяга и актер. Был на юге только голос: «Мы — костер». Запылала степь, сухим огнем пошла. Степью рать двадцатилетних полегла. Мы живем. Нам тоже скоро умереть. Надо только доиграть и догореть. Падаль конскую на ужин разогреть. Гольцев! Слышите, как стелется метель — Белой Армии стоверстная постель? Слышно ль, как звенят скрещаясь провода? Это, Гольцев, тот, кто строит города. Это значит — есть Россия навсегда.

1918

СТИХИ 1919-1930-х ГОДОВ

* * *

Черна, как бывают колодцы черны. Черна глубиной, искажающей сны. Так Еврейская Кровь начинает. Струится к Двадцатому Веку и мстит, Чтоб не был я мертвым, который не спит, А простым пастухом. Та ночная, Ночная пучина, как имя сестры, Когда-то в Гренаде вела на костры И в кудрях вырастала рогами. Костры отпылали. Синай отгремел. Я огненных книг и читать не умел. Потому мы и стали врагами. С какой же неправдой, горбатый двойник, Из мглы синагог ты в мой разум проник Иль правдой какой ты владеешь? Ты, имя предавший ветрам Элоим, Зачем ты глазам воспаленным моим Слишком поздно вернул Иудею? 1919

Последний

Над роком. Над рокотом траурных маршей. Над конским затравленным скоком. Когда ж это было, что призрак монарший Расстрелян и в землю закопан?

Где черный орел на штандарте летучем В огнях черноморской эскадры? Опущен штандарт, и под черную тучу Наш красный петух будет задран.

Когда гренадеры в мохнатых папахах Шагали — ты помнишь их ропот? Ты помнишь, что был он как пороха запах И как «на краул» пол-Европы?

Ты помнишь ту осень под музыку ливней? То шли эшелоны к границам. Та осень! Лишь выдохи маршей росли в ней И встали столбом над гранитом.

Под занавес ливней заливистых проседь Закрыла военный театр. Лишь стаям вороньим под занавес бросить Осталось: «Прощай, император!»

Осенние рощи ему салютуют Свистящими саблями сучьев. И слышит он, слышит стрельбу холостую Всех вахту ночную несущих.

То он, идиот подсудимый, носимый По серым низинам и взгорьям, От черной Ходынки до желтой Цусимы, С молебном, гармоникой, горем...

На пир, на расправу, без права на милость, В сорвавшийся крутень столетья Он с мальчиком мчится. А лошадь взмолилась, Как видно, пора околеть ей.

Зафыркала, искры по слякоти сея, Храпит ошалевшая лошадь...

— Отец, мы доехали? Где мы? — В России. Мы в землю зарыты, Алеша.

1919

Петр Первый

В безжалостной жадности к существованью, За каждым ничтожеством, каждою рванью Летит его тень по ночным городам. И каждый гудит металлический мускул Как колокол. И, зеленеющий тускло, Влачится классический плащ по следам.

Он Балтику смерил стальным глазомером. Горят в малярии, подобны химерам, Болота и камни под шагом ботфорт. Державная воля не знает предела, Едва поглядела — и всем завладела. Торопится Меншиков, гонит Лефорт.

Огни на фрегатах. Сигналы с кронверка. И льды, как ножи. И, лицо исковеркав, Метель залилась — и пошла, и пошла... И вот на рассвете пешком в департамент Бредут петербуржцы, прильнувшие ртами К туманному Кубку Большого Орла.

И снова — на финский гранит вознесенный — Второе столетие мчится бессонный, Неистовый, стужей освистанный Петр, Чертежник над картами моря и суши, Он гробит ревизские мертвые души, Торопит кладбищенский призрачный смотр. 1921 (1966)

Экспрессионисты

Толпа метавшихся метафор Вошла в музеи и в кафе — Плясать и петь, как рослый кафр, И двигать скалы, как Орфей.

Ее сортировали спешно. В продажу худший сорт пошел. А с дорогим, понятно, смешан Был спирт и девка голышом.

И вот, пресытясь алкоголем, Библиотеки исчерпав, Спит ужас, глиняный как Голем, В их размозженных черепах.

И стужа под пальто их шарит, И ливень — тайный их агент. По дымной карте полушарий Они ползут в огне легенд.

Им помнится, как непогода Шла, растянувшись на сто лет, Легла с четырнадцатого года Походной картой на столе...

Как пораженческое небо И пацифистская трава Молили молнийную небыль Признать их древние права.

Им двадцать лет с тех пор осталось, Но им, наивным, ясно все — И негрского оркестра старость, И смерть на лицах Пикассо.

И смех, и смысл вещей, и гений, И тот раскрашенный лубок — Тот глыбами земных гниений Галлюцинирующий бог.

Летят года над городами, Вопросы дня стоят ребром. Врачи, священники и дамы Суют им Библию и бром.

Остался гул в склерозных венах, Гул времени в глухих ушах. Сквозь вихорь измерений энных Протезов раздается шаг.

Футляр от скрипки, детский гробик — Все поросло одной травой... Зародыш крепко спит в утробе С большой, как тыква, головой.

1923, Берлин

Ребенок мой осень

Ребенок мой осень, ты плачеппь? То пляшет мой ткацкий станок. Я тку твое серое платье, И город свернулся у ног.

Ребенок седой и горбатый, Твоя мне мерещится мощь — По крышам и стеклам Арбата С налета ударивший дождь.

Мой ранний, мой слабый ребенок, Твой плач вырастает впотьмах. Но сколько их, непогребенных Детей моих, в сонных домах!

Теперь мне осталось одно лишь Седое, как дождь, ремесло. Но ты ведь не враг. Ты позволишь, Чтоб это мученье росло,

Чтоб наше прощанье окрепло, Кренясь на великом ветру, Пока я соленого пепла И пены со рта не сотру.

Санкюлот

Мать моя — колдунья или пплоха, А отец — какой-то старый граф. До его сиятельного слуха Не дошло, как, юбку разодрав На пеленки, две осенних ночи Выла мать, родив меня во рву. Даже дождь был мало озабочен И плевал на то, что я живу.

Мать мою плетьми полосовали. Рвал ей ногти бешеный монах. Судьи в красных мантиях зевали, Колокол звонил, чадили свечи. И застыл в душе моей овечьей Сон о тех далеких временах.

И пришел я в городок торговый. И сломал мне кости акробат. Стал я зол и с двух сторон горбат. Тут начало действия другого. Жизнь ли это или детский сон, Как несло меня пять лет и гнуло, Как мне холодом ломило скулы, Как ходил я в цирках колесом, А потом одной хрычовке старой В табакерки рассыпал табак, Пел фальцетом хриплым под гитару, Продавал афиши темным ложам

И колбасникам багроворожим Поставлял удавленных собак.

Был в Париже голод. По-над глубью Узких улиц мчался перекат Ярости. Гремела канонада. Стекла били. Жуть была — что надо! О свободе в Якобинском клубе Распинался бледный адвокат. Я пришел к нему, сказал:

«Довольно, Сударь! Равенство полно красы, Только по какой линейке школьной Нам равнять горбы или носы? Так пускай торчат хоть в беспорядке Головы на пиках!

А еще —

Не читайте, сударь, по тетрадке. Куй, пока железо горячо!»

Адвокат, стрельнув орлиным глазом, Отвечает:

«Гражданин горбун!

Знай, что наша добродетель — разум, Наше мужество — орать с трибун. Наши лавры — зеленью каштанов Нас венчает равенство кокард. Наше право — право голоштанных. А Версаль — колода сальных карт».

А гремел он до зари о том, как Гидра тирании душит всех; Не хлебнув глотка и не присев, Пел о благодарности потомков.

Между тем у всех у нас в костях Ныла злость и бушевала горечь. Перед ревом человечьих сборищ Смерть была как песня. Жизнь — пустяк. Злость и горечь... Как давно я знал их! Как скреплял я росчерком счета, Те, что предъявляла нищета, Как скрипели перья в трибуналах! Красен платежами был расчет! Разъезжали фуриями фуры. Мяла смерть седые куафюры И сдувала пудру с желтых щек. И трясла их в розовых каретах, На подушках, взбитых, словно крем, Лихорадка, сжатая в декретах, Как в нагих посылках теорем.

Ветер. Зори барабанов. Трубы. Стук прикладов по земле нагой. Жизнь моя — обугленный обрубок, Прущий с перешибленной ногой На волне припева, в бурной пене Рваных шапок, ружей и знамен, Где любой по праву упоенья

Может быть соседом заменен. Я упал. Поплыли пред глазами Жерла пушек, зубы конских морд. Гул толпы в ушах еще не замер. Дождь не перестал. А я был мертв. «Дотащиться бы, успеть к утру хоть!» — Это говорил не я, а вихрь. И срывал дымящуюся рухлядь Старый город с плеч своих.

И сейчас я говорю с поэтом, Знающим всю правду обо мне. Говорю о времени, об этом Рвущемся к нему огне.

Разве знала юность, что истлеть ей? Разве в этой ночи нет меня? Разве день мой старше на столетье Вашего младого дня? И опять:

«Дождаться, доползти хоть!» Это говорю не я, а ты. И опять задремывает тихо Море вечной немоты.

И опять с лихим припевом вровень, Чтобы даже мертвым не спалось, По камням, по лужам дымной крови Стук сапог, копыт, колес.

Пушкин

Ссылка. Слава. Любовь. И опять В очи кинутся версты и ели. Путь далек. Ни проснуться, ни спать — Даже после той подлой дуэли.

Вспоминает он Терек и Дон, Ветер с Балтики, зной Черноморья, Чей-то золотом шитый подол, Буйный табор, чертог Черномора.

Вспоминает неконченый путь, Слишком рано оборванный праздник. Что бы ни было, что там ни будь. Жизнь грозна, и прекрасна, и дразнит.

Так пируют во время чумы, Так встречают, смеясь, Командора, Так мятеж пробуждает умы Для разрыва с былым и раздора. Это наши года. Это мы.

Пусть на площади, раньше мятежной, Где расплющил змею истукан, Тишь да гладь. Но не вихорь ли снежный Поднимает свой пенный стакан?

И гудит этот сказочный топот, Оживает бездушная медь. Жизнь прекрасна и смеет шуметь, Смеет быть и чумой и потопом.

Заливает! Снесла берега, Залила уже книжные полки. И тасует колоду карга В гофрированной белой наколке. Но и эта нам быль дорога.

Так несутся сквозь свищущий вихорь Полосатые версты дорог. И смеется та бестия тихо.

Но не сдастся безумный игрок!

Все на карту! Наследье усадеб, Вековое бессудье и грусть... Пусть присутствует рядом иль сзади Весь жандармский корпус в засаде, — Все на пулю, которую всадит Кто в кого — неизвестно. И пусть...

Не смертельна горящая рана. Не кончается жизнь. Погоди! Не светает. Гляди: слишком рано. Столько дела еще впереди.

Мчится дальше бессонная стужа. Так постой, оглянись хоть на миг.

Он еще существует, он тут же, В нашей памяти, в книгах самих.

Это жизнь, не застывшая бронзой, Черновик, не вошедший в тома, О, постой! Это юность сама. Это в жизни прекрасной и грозной Сила чувства и смелость ума. 1926



Песня дождя

Вы спите? Вы кончили? Я начинаю. Тяжелая наша работа ночная.

Гранилыцик асфальтов, и стекол, и крыш — Я тоже несчастен. Я тоже Париж.

Под музыку желоба вой мой затянут. В осколках бутылок, в обрезках жестянок,

Дыханием мусорных свалок дыша, Он тоже столетний. Он тоже душа.

Бульвары бензином и розами пахнут. Мокра моя шляпа. И ворот распахнут.

Размотанный шарф романтичен и рыж. Он тоже загадка. Он тоже Париж.

Усните. Вам снятся осады Бастилий И стены гостиниц, где вы не гостили,

И сильные чувства, каких и следа Нет ни у меня, ни у вас, господа. 1928



Я люблю тебя

Я люблю тебя в дальнем вагоне, В желтом комнатном нимбе огня. Словно танец и словно погоня, Ты летишь по ночам сквозь меня.

Я люблю тебя — черной от света, Прямо бьющего в скулы и в лоб. Не в Москве — так когда-то и где-то Все равно это сбыться могло б.

Я люблю тебя в жаркой постели, В тот преданьем захватанный миг, Когда руки сплелись и истлели В обожанье объятий немых.

Я тебя не забуду за то, что Есть на свете театры, дожди, Память, музыка, дальняя почта... И за все. Что еще. Впереди.

Кладовая

Без шуток, без шубы, да и без гроша, Глухая, немая осталась душа.

Моя или чья-то, пустырь или сад, Душа остается и смотрит назад.

А там — кладовая ненужных вещей, Там запах весны пробивается в щель.

Я вместе с душой остаюсь в кладовой, Весь в дырах и пятнах — а все-таки твой,

И все-таки ты, моя ранняя тень, Не сказка, не выдумка в пасмурный день.

Наверно, три жизни на то загубя, Я буду таким, как любил я тебя.

1929

Это письма из прошлого в красных печатях: Разорвать или сжечь— все равно тяжело. Только рано иль поздно, а надо кончать их. Еще рано? Нет, поздно. И поздно прошло.

Окружен со всех сторон Город карканьем ворон. Он тревожен, оттого что Есть в нем радио и почта.

Слышу, слышу мощный гул! Так в начале нашей эры Изучали артикул Лейб-гвардейцы офицеры.

На полях военных карт И на олове кокард Отчеканен символ славы — Зверь державный и двуглавый.

Мы опять пришли домой — В черноту тюрьмы военной. Государство, идол мой! — Ключ-замок обыкновенный!

Я следил, как тонны тьмы Ты в людские льешь умы После выпитых бутылок, Общих фраз и пуль в затылок. Я давно облюбовал Час, когда в комендатурах Гонят истину в подвал, Оставляют совесть в дурах.

Сколько лет, сколько зим Был твой зов неотразим! Сколько осеней и весен Был он ясен и несносен!

Сколько штук тупых штыков, Туш, распяленных на крючьях, Сколько смерти! Вот каков Идол наших слез горючих.

Брось в клозет газетный вздор! Черной ночи коридор Полон, как пристало ночи, Перестуком одиночек.

Государство, склад камней, Свалка, кладбище, разруха, — Ты приставлено ко мне, Как фискала глаз и ухо.

Фургон

Ползет фургон бродячего зверинца. Грязь. Темень. По брезенту дождь звенит. Возница спит. Во сне он краше принца, Богат, удачлив, молод, знаменит.

Жизнь тяжела. В харчевнях кормят скудно, На мокрых ярмарках голо́, как вдруг — Все клетки настежь. Раз! Еще секунда... Он вздрогнул, что за черт?.. Но тьма вокруг.

И вот опять гнилой соломы запах... Он зорко смотрит в дождевую тьму. А тьма встает на вывихнутых лапах, Ползет на брюхе сплющенном к нему.

Ей хочется в немых соитьях грызться, Клыками рвать, кромсать любой кусок. И чует каждым мускулом тигрица, Что рядом с ней течет багряный сок.

Пока еще бессмысленно играя, Одни сопят, другие ждут свистка. Тогда хватает хлыст и флейту гаер, Он чувствует сквозь сон, что смерть близка.

Седая сила всеми завладела! Седая песня прозвучала здесь! Не кончено на белом свете дело Седых чудовищ, чудищ и чудес! Их призраки, их тени, двойники их, Их пращуры, продравшие глаза, Трясут решетки, буйствуют в стихиях, — Ни в чем ином не смысля ни аза...

Проснуться. Вскрикнуть. Но дыханье сперто. Фургон, как туча, пятится назад. Сломать бы хлыст, дрянную флейту к черту, Жить с внуками и подстригать свой сад...

А тот оскал, голодный и колючий, Те жалкие глаза, они твои. Так не теряй хлыста на всякий случай, Пока не рухнул на землю в крови!..

Пока тебя не окружила свора, Не кинулась стремительно — загрызть!.. Не шелохнись! Жди молча приговора — Вот вся твоя удача, вся корысть.

Ползет фургон. Пестро фургон раскрашен — Скрипучий, старый, мешкотный фургон. Возница спит. Сон долог и не страшен. Нестрашный сон. Предсмертный перегон. 1929

31 декабря

Этот час не похож на другие часы. Горячась от блистания близкой красы,

Я готов! Но и ты мне, конечно, ответишь За ошибки годов и за всю эту ветошь.

За горячку в крови, догоревшей дотла, Ты ответишь, хоть скатерть сорви со стола!

Не сгорел же я в этом хорошем году, Если буду поэтом — так не пропаду!

Бьет двенадцатый час. Ты смеешься? Прижалась? Или думаешь — сбудется наоборот?

Но мне нужен, как хлеб, и не нужен, как жалость, Этот сломанный смехом малиновый рот.

Понимаешь ты? Если бы куклой была ты, Я и то разбудил бы фарфоровый мозг,

Достучался, дозвался, добился крылатой Сердцевины, закутанной в шелковый лоск.

Ты не слушаешь? Это С тобой говорит Не похмелье поэта, А время и ритм.

Ты не слушаешь, сон Золотой и безмозглый! Тонкий хлыст занесен На высокие ко́зла. Облегченно и колко Звенят провода. Унеслась одноколка Твоя навсегда.



Застольная

Друзья! Мы живем на зеленой земле. Пируем в ночах. Истлеваем в золе. Неситесь, планеты, неситесь, Неситесь! Ничем не насытясь, Мы сгинем во мгле.

Но будем легки на подъем и честны, Увидим, как дети, тревожные сны, Чтоб снова далече, Целуя, калеча, Знобила нам плечи Погода весны.

Скрежещет железо. И хлещет вода. Блещет звезда. И гудят провода. И снова нам кажется Мир великаном, И снова легка нам Любая беда.

Да здравствует время! Да здравствует путь! Рискуй. Не робей. Нерасчетливым будь. А если умрешь, Берегись, не воскресни! А песня? А песню споет кто-нибудь! 1935

Памяти матери

Мой мир уже кончен. Ее последние слова

Твой мир — это юность в сыром Петербурге и куча Сестер и братишек, худых необутых ребят, Которые учатся рядом и, книгой наскуча, Всеобщую няньку, большую сестру теребят.

Твой мир — это мы, твои дети в кроватках, когда мы Росли, и когда ты была молода, и когда На пачку ломбардных квитанций, на сумочку дамы, Не очень зажиточной, смутно глядела беда.

Твой мир — это зимы и вёсны, Некрасов и Чехов, И жажда быть с нами, и мужество быть молодой. Твой мир — это письма мои. И как будто, уехав, Тебя напоил я живой, а не мертвой водой.

Твой мир — это годы болезней. Потом ты ослепла. И он обеднел — ограниченный, тусклый твой мир. Потом ты скончалась. И горсть безымянного пепла Не столь драгоценна как будто, но все же кумир.

А самое горькое в том, что стирается горечь, Стирается горькая память и мчатся года. И что тут сказать, если этого не переспоришь! Вот старость подходит, а ты не придешь никогда.

Но я не сдаюсь. Я хочу безнадежно и прямо Выспрашивать у наступившей тогда черноты:

Зачем называется «молнией» та телеграмма, Та черная, рядом с которой немыслима ты?

Тебя уже не было. Где-то чужие старухи Тебя одевали. Накрапывал, может быть, дождь. Кишели в могилах блестящие черные мухи. Вселенная знала свою беспощадную мощь.

Но это пустяк. Я приеду с тобою проститься. Я не опоздал — мы у времени оба в гостях. А ты превратишься в золу, в дуновение, в птицу... Но это пустяк. Расстоянье меж нами — пустяк. (1935)

Окончание книги

Во время войн, царивших в мире, На страшных пиршествах земли Меня не досыта кормили, Меня не дочерна сожгли.

Я помню странный вид веселья — Безделка, скажете, пустяк? То было творчество. Доселе Оно зудит в моих костях.

Я помню странный вид упорства — Желанье мир держать в горсти, С глотком воды и коркой черствой Все перечесть, перерасти.

Я жил, любил друзей и женщин, Веселых, нежных и простых. И та, с которою обвенчан, Вошла хозяйкой в каждый стих.

Я много видел счастья в бурной И удивительной стране, Она — что хорошо, что дурно, Не сразу втолковала мне.

Но в свивах рельс, летящих мимо, В горячке весен, лет и зим Ее призыв неутомимый К познанью был неотразим. Я трогал черепа страшилищ В обломках допотопных скал. Я уники книгохранилищ Глазами жадными ласкал.

Меж тем, перегружая память, Шли годы, полные труда. Прожектор вырубал снопами Столетья, книги, города.

То он куски ущелий щупал, То выпрямлял гигантский рост, Взбирался в полуночный купол И шарил в ожерельях звезд.

И, отягчен священной жаждой, Ее сжигающей тщетой, Обогащен минутой каждой, По вольной воле прожитой.

Я жил, как ты, далекий правнук! Я не был пращуром тебе. Земля встречает нас как равных По ощущеньям и судьбе.

Не разрывай трухи могильной, Не жалуй призраков в бреду. Но если ты захочень сильно, К тебе я музыкой приду.

СТИХИ 1940-1976 ГОДОВ

Сын

Отрывки из поэмы

1.

— Вова! Я не опоздал? Ты слышишь? Мы сегодня рядом встанем в строй. Почему ты писем нам не пишешь, Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть, Слез не в силах с личика смахнуть, Голову не в силах запрокинуть, Глубже всеми легкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки Только синий, синий, синий цвет? Или сквозь обугленные веки Не пробъется никакой рассвет?

Видишь — вот сквозь вьющуюся зелень Светлый дом в прохладе и в тени, Вот мосты над кручами расселин. Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро Будешь рядом с ней, плечо к плечу,

С самой лучшей, с самой златокудрой, С той, кого назвать я не хочу?

Слышишь, слышишь, слышишь канонаду? Это наши к западу пошли. Значит, наступленье. Значит, надо Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной, Из далекой дали фронтовой, Отвечает сын мой ненаглядный С мертвою горящей головой:

— Не зови меня, отец, не трогай, Не зови меня, о, не зови! Мы идем нехоженой дорогой, Мы летим в пожарах и в крови.

Мы летим и бьем крылами в тучи, Боевые павшие друзья. Так сплотился наш отряд летучий, Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье. Знаю только, что не кончен бой. Оба мы — песчинки в мирозданье. Больше мы не встретимся с тобой. Что слезы! Дождь над выжженной пустыней. Был дождь. Благодеянье пронеслось. Сын завещал мне не жалеть о сыне. Он был солдат. Ему не надо слез. Солдат? Неправда. Так мы не поможем Понять страницу, стершуюся сплошь. Кем был мой сын? Он был Созданьем Божьим. Созданьем божьим? Нет. И это ложь.

Далек мой путь сквозь стены и по тучам, Единственный мой достоверный путь. Стал мой ребенок облаком летучим. В нем каждый миг стирает что-нибудь.

Он может и расплыться в горькой влаге, В соленой, сразу брызнувшей росе. А он в бою и не хлебнул из фляги, Шел к смерти, не сгибаясь, по шоссе. Пыль скрежетала на зубах. Комарик Прильнул к сухому, жаркому виску. Был яркий день, как в раннем детстве, ярок. Кукушка пела мирное «ку-ку».

Что вспомнил он? Мелодию какую? Лицо какое? В чьем письме строку? Пока, о долголетии кукуя, Твердила птица мирное «ку-ку»?

...Но как он удивился этой липкой, Хлестнувшей горлом, жгуче-молодой! С какой навек растерянной улыбкой Вдруг очутился где-то под водой! Потом, когда он, выгнувшись всем телом, Спокойно спал, как дома, на боку, Еще в лесном раю осиротелом Звенело запоздалое «ку-ку».

Жизнь уходила. У-хо-ди-ла. Будто Она в гостях ненадолго была. И, спохватившись, что свеча задута, Что в доме пусто, в окнах нет стекла, Что ночью добираться далеко ей Одной вдоль изб обугленных и труб. И тихо жизнь оставила в покое В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображенье.

Что ты тянешь И путаешься?

Ты-то не мертво. Смотри во все глаза, пока не станешь Предсмертной мукой сына моего. Услышь,

в каком отчаянье, как хрипло Он закричал, цепляясь за траву, Как в меркнущем мозгу внезапно выплыл Обломок мысли:

«Все-таки живу».

Как медленно, как тяжело, как нагло В траве пополз тот самый яркий след, Как с гибнущим осталась с глазу на глаз Вся жизнь, все восемнадцать лет.

Ну, так дойди до белого каленья... Испепелись и пепел свой развей. Стань кровью молодого поколенья, Любовью всех отцов и сыновей.

Так не стихай и вырвись вся наружу, С ободранною кожей, вся как есть, Вся жизнь моя, вся боль моя — к оружью! Все видеть. Все сказать. Все перенесть.

Он вышел из окопа. Запах поля Дохнул в лицо предвестьем доброты. В то же мгновенье разрывная пуля, Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел все до точки, не обидел Сухих травинок, согнутых огнем, И солнышко в последний раз увидел, И пожалел, и позабыл о нем. И вспомнил он, и вспомнил он, и вспомнил Все, что забыл, с начала до конца. И понял он, как будет нелегко мне, И пожалел, и позабыл отца.

Он жил еще. Минуту. Полминуты, О милости несбыточной моля. И рухнул, в три погибели согнутый. И расступилась мать сыра земля. И он прильнул к земле усталым телом И жадно, отучаясь понимать, Шепнул земле — но не губами — целым Существованьем кончившимся: «Мать».

10.

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть. Прощай, моя молодость, милый сыночек. Пусть этим прощаньем окончится повесть О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный От света и воздуха. В муке последней, Никем не рассказанный. Не воскрешенный. На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги, Идущие через столетья и через Прибрежные те травяные отроги, Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда. Прощай. Самолеты туда не летают.

Прощай. Никакого не сбудется чуда. А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок, И счастлив, и ножками топчешь босыми Ту землю, где столько лежит погребенных. На этом кончается повесть о сыне.

Лагерь уничтожения

И тогда подошла к нам, желта как лимон, Та старушка восьмидесяти лет, В кацавейке, в платке допотопных времен — Еле двигавший ноги скелет. Синеватые пряди ее парика Гофрированы были едва, И старушечья, в синих прожилках рука Показала на оползни рва.

«Извините, я шла по дорожным столбам, По местечкам, сожженным дотла. Вы не знаете, где мои мальчики, пан, Не заметили, где их тела?

Извините меня, я глуха и слепа. Может быть, среди польских равнин, Может быть, эти сломанные черепа — Мой Иосиф и мой Веньямин... Ведь у вас под ногами не щебень хрустел. Эта черная жирная пыль — Это прах человечьих обугленных тел», — Так сказала старуха Рахиль.

И пошли мы за ней по полям. И глаза Нам туманила часто слеза. А вокруг золотые сияли леса, Поздней осени польской краса.

Там травы золотой сожжена полоса, Не гуляют ни серп, ни коса. Только шепчутся там голоса, голоса, Тихо шепчутся там голоса:

«Мы мертвы. Мы в обнимку друг с другом лежим. Мы прижались к любимым своим, Но сейчас обращаемся только к чужим, От чужих ничего не таим.

Сосчитайте по выбоинам на земле, По лохмотьям истлевших одежд, По осколкам стекла, по игрушкам в золе, Сколько было тут светлых надежд. Сколько солнца и хлеба украли у нас, Сколько детских засыпали глаз.

Сколько иссиня-черных остригли волос, Сколько девичьих рук расплелось. Сколько крохотных юбок, рубашек, чулок Ветер по свету гнал и волок. Сколько стоили фосфор, и кровь, и белок В подземелье фашистских берлог.

Эти звезды и эти цветы — это мы. Торопились кончать палачи, Потому что глаза им слепили из тьмы



Наших жизней нагие лучи. Банки с газом убийцы истратили все. Смерть во всей ее жалкой красе Убегала от нас по асфальту шоссе, Потому что в вечерней росе, В трепетанье травы, в лепетанье листвы, Очертанье седых облаков — Понимаете вы! — мы уже не мертвы, Мы воскресли на веки веков.

Невечная память

1.

Пошла в размол субстанция Спинозы, Развеян прах Эйнштейновой звезды. Бесшумные песчаные заносы Засасывают смутные следы.

Лишь кое-где торчат протезы нищих, Обрывки шелка и куски стекла. А на седых, как время, пепелищах И впрямь как будто вечность протекла.

Чего ж ей медлить? Плевелы отвеяв И урезонив праздные умы, Она исправит главы от Матфея Коварным толкованием Фомы.

И ты, ровесник страшного столетья, Ты, человек сороковых годов, Исполосован памятью, как плетью, И впрямь на старость мирную готов?

Ты любишь слабый свет настольной лампы И на коротких волнах гул земли... Куда же эти сумрачные ямбы Тебя на страх домашним завели?

Ну так всмотрись же зорче напоследок, Прислушайся к подземным голосам!

Ты сам дикарской трапезы объедок, В лоскутьях кожи выдублен ты сам.

Не вздумай же отделаться насмешкой От свежеперепаханных траншей. И если вышел в путь, смотри, не мешкай! Последний перевал — еще страшней.

2.

Кончаются расправы и облавы. Одна лишь близость кровного родства Темней проклятья и светлее славы. Проклятья или славы — что сперва?

Теряются следы в тысячелетних Скитаньях по сожженным городам. В песках за Бабьим яром, в черных сплетнях, На черных рынках, в рухляди, — а там

Прожектора вдоль горизонта шарят, Ползут по рвам, елозят по мостам. Юродствует ханжа, трясется скаред И лжесвидетель по шпаргалке шпарит... А где-то жгут, дробят, кромсают, жарят, Гноят за ржавой проволокой, — а там

Нет и следов, — ни в городах Европы, Ни на одной из мыслимых планет, Ни в черной толще земляной утробы, Ни в небе, ни в аду их больше нет.

Лежит брусками данцигское мыло, Что выварено из костей и жил. Там чья-то жизнь двумя крылами взмыла И кончилась, чтоб я на свете жил.

Чья жизнь? Чья смерть бездомна и бессонна? В венце каких смолистых черных кос, В каком сиянье белого виссона Ступила ты на смертный тот откос?

Прости мне три столетья опозданья И три тысячелетья немоты! Опять мы разминулись поездами На той земле, где отпылала ты.

Дай мне руками прикоснуться к коже, Прильнуть губами к смуглому плечу, — Я все про то же, — слышишь? — все про то же, Но сам забыл, про что же я шепчу...

Мой дед-ваятель ждал тебя полвека, Врубаясь в мрамор маленьким резцом, Чтоб ты явилась взгляду человека С таким вот точно девичьим лицом.

Еще твоих запястий не коснулись Наручники, с упрямицей борясь, Еще тебя сквозь строй варшавских улиц Не прогнала шпицрутенами мразь.

И колкий гравий, прах костедробилок Тебе не окровавил нежных ног, И злобная карга не разрубила Жизнь пополам, прокаркав «Варте нох!»

Не подступили прямо к горлу комья Сырой земли у страшных тех ворот... Жить на Земле! Что проще и знакомей, Чем черный хлеб и синий кислород!

Но что бы ни сказал тебе я, что бы Ни выдумал страстнее и святей, Я вырву только стебель из чащобы На перегное всех твоих смертей.

И твой ребенок, впившийся навеки Бессмертными губами в твой сосок, Не видит сквозь засыпанные веки, Как этот стебель зелен и высок.

Охрипли трубы. Струны отзвучали. Смычки сломались в пальцах скрипачей. Чьим ты была весельем? Чьей печалью? Вселенной чьею? — Может быть, ничьей?

Очнись, дитя сожженного народа! Газ, или плетка, иль глоток свинца, — Встань, юная! В делах такого рода, В такой любви — не может быть конца.

В такую ночь безжалостно распахнут Небесный купол в прозелени звезд. Сверкает море, розы душно пахнут Сквозь сотни лет, на сотни тысяч верст.

Построил я для нашего свиданья Висящие над вечностью мосты. Мою тревогу слышит мирозданье. И пышет алым пламенем. А ты?

3.

Как безнадежно, как жестоко Несется время сквозь года. Но слитный гул его потока Звучит: ЗАПОМНИ НАВСЕГДА.

Он каждой каплей камень точит. Но только ты выходишь в путь — Все безнадежней, все жесточе Звучит: ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ.

Мы в Истории вычеркнем это и то, Соскребем и подчистим и строки и сроки. Мы возьмем на засов, что свинцом залито, Что зарыто лопатой у края дороги.

Нет, не в памяти твердой, не в здравом уме, Но послушно, старательно, как рядовые, Задохнемся в любой удушающей тьме И родимся на свет, коли надо, впервые.

Что случилось? Кто помнит? Кто смеет посметь? Начинайся сначала, бессмертная смена! Не звонила в набат колокольная медь, Не скликала она мертвецов поименно.

Только за ноги павших у нас волокут, Только в пропасть бросают, в шальную пучину, И трепещет под ветром кровавый лоскут, Красный флаг, означающий первопричину.

Продолжается жизнь. Революция-Мать Продолжает строптивое, страшное дело. А чего не доделала, недоглядела, — То временно. Это не грех и сломать. 1953

Сны возвращаются

Сны возвращаются из странствий. Их сила только в постоянстве. В том, что они уже нам снились И с той поры не прояснились.

Из вечной ночи погребенных Выходит юноша-ребенок, Нет, с той поры не стал он старше, Но, как тогда, устал на марше.

Пятнадцать лет не пять столетий. И кровь на воинском билете Еще не выцвела, не стерта. Лишь обветшала гимнастерка.

Он не тревожится, не шутит, О наших действиях не судит, Не проявляет к нам участья, Не предъявляет прав на счастье.

Он только помнит, смутно помнит Расположенье наших комнат, И стол, и пыль на книжных полках, И вечер в длинных кривотолках.

Он замечает временами Свое родство и сходство с нами. Свое сиротство он увидит, Когда на вольный воздух выйдет.

Баллада о чудном мгновении

...Она скончалась в бедности. По странной случайности гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву. Из старой энциклопедии

Ей давно не спалось в дому деревянном. Подходила старуха, как тень, к фортепьянам, Напевала романс о мгновенье чудном Голоском еле слышным, дыханием трудным. А по чести сказать, о мгновении чудном Не осталось грусти в быту ее скудном, Потому что барыня в глухой деревеньке Проживала как нищенка, на медные деньги.

Да и, господи боже, когда это было! Да и вправду ли было, старуха забыла, Как по лунной дорожке, в сверканье снега Приезжала к нему — вся томленье и нега. Как в объятьях жарких, в молчанье ночи Он ее заклинал, целовал ей очи, Как уснул на груди ее и дышал неровно, Позабыла голубушка, Анна Петровна...

А потом пришел ее час последний. И всесветная слава и светские сплетни Отступили, потупясь, пред мирной кончиной. Возгласил с волнением сам благочинный: «Во блаженном успении вечный покой ей!» Что в сравненье с этим счастье мирское! Ничего не слыпа, спала, бездыханна, Раскрасавица Керн, боярыня Анна.

Отслужили службу, панихиду отпели. По Тверскому тракту полозья скрипели. И брели за гробом, колыхались в поле Из родни и знакомцев десяток — не боле, Не сановный люд, не знатные гости, Поспешали зарыть ее на погосте. Да лошадка по грудь в сугробе завязла. Да крещенский мороз крепчал как назло.

Но пришлось процессии той сторониться. Осадил, придержал правее возница, Потому что в Москву, по воле народа, Возвращался путник особого рода. И горячие кони били оземь копытом, Звонко ржали о чем-то еще не забытом. И январское солнце багряным диском Рассиялось о чем-то навеки близком.

Вот он — отлит на диво из гулкой бронзы, Шляпу снял, загляделся на день морозный. Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде, Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде. Только страшно вырос, — прикиньте, смерьте, Сколько весит на глаз такое бессмертье! Только страшно юн и страшно спокоен, — Поглядите, правнуки, — точно такой он!

Так в последний раз они повстречались, Ничего не помня, ни о чем не печалясь.

Так метель крылом своим безрассудным Осенила их во мгновении чудном. Так метель обвенчала нежно и грозно Смертный прах старухи с бессмертной бронзой, Двух любовников страстных, отпылавших розно, Что простились рано, а встретились поздно.

Зое на добрую память

Зое — на добрую память о времени злом.

Зое — две юности наши сплетаю узлом.

Зое — тревога, и нежность, и верность моя.

30е — ни мыслей, ни чувств от нее не тая.

Зое — поэма о времени и о судьбе.

Зое — любимой, одной и единой, Тебе.

Ноябрь 1945

Мы все — лауреаты премий, Врученных в честь него, Спокойно шедшие сквозь время, Которое мертво.

Мы все, его однополчане, Молчавшие, когда Росла из нашего молчанья Народная беда.

Таившиеся друг от друга Не спавшие ночей, Когда из нашего же круга Он делал палачей,

Для статуй вырывшие тонны Всех каменных пород, Глушившие людские стоны Водой хвалебных од, —

Пускай нас переметит правнук Презреньем навсегда, Всех одинаково как равных — Мы не таим стыда.

Да, очевидность этих истин Воистину проста! Но нам не мертвый ненавистен, А наша слепота.

Я не хочу судиться с мертвецом За то, что мне казался он отцом. Я не могу над ним глумиться, Рассматривать его дела в упор И в запоздалый ввязываться спор С гробницей — вечною темницей...

Я — сотрапезник общего стола, Его огнем испепелен дотла, Отравлен был змеиным ядом. Я, современник стольких катастроф, Жил-поживал, а в общем жив-здоров. Но я состарился с ним рядом.

Не шуточное дело, не пустяк — Состариться у времени в гостях, Не жизнь прожить, а десять жизней — И не уйти от памяти своей, От горького наследства сыновей На беспощадной этой тризне.

Не о себе я говорю сейчас! Но у одной истории учась Ее бесстрастному бесстрашью, — Здесь, на крутом, на голом берегу, Я лишь обрывок правды сберегу, Но этих слов не приукрашу.

Маяковский

Пускай никаким ремеслом не владея, Считают, что их выручает идея, И в разных журналах в различные сроки Печатают лесенкой вялые строки. Пускай водянистым своим пересказом Хотят подсластить его гнев и сарказм И держат в свидетельство собственной мощи Цитаты — поплоше и мысли — поплоще.

А он, как и был, остается поэтом. Живым, неприкаянным и недопетым, Не слышит похвал, не участвует в спорах, Бездомен, как демон, бездымен, как порох! Ни дома, ни дыма, ни думы, ни дамы, Ни даты, отбитой былыми годами... Никем не обласкан, никем не освистан, Не отредактирован, не переиздан.

Но каждое утро, как в первом издании, Впервые вперяет глаза в мирозданье, В сумятицу гавани, в давку вокзала, И снова, как время ему приказало, Встает на трибуне, и требует слова, И на смерть идет, и рождается снова.

Как они бесприютны, угрюмы, понуры, Как невесело щурятся навеселе, Слесаря, столяры, маляры, штукатуры В самом сердце страны, в подмосковном селе.

Что их гнет и гнетет и под ветром сгибает И к земле пригибает ненастной порой? Отчего каждый третий из них погибает И с поличным в милиции каждый второй?

Не уроды, не выродки... мощной породы, Плечи в сажень, осанка тверда и горда, — Отрицатели бога, владыки природы, Поколенье, понесшее знамя труда!

Они были цементом в решающих планах, Ураганным огнем у речных переправ... Погляди — разве нет у них орденских планок, Зарубцованных ран, государственных прав?

Мы писали стихи на торжественный случай, Потрясали сердца, вызывали слезу... Ну так вот же она под свинцовою тучей, Вся как есть — вся Россия теснится внизу.

Так пройдем по дорогам, по глинистым спускам, Где трехтонки буксуют на всяком шоссе, Где за мокрыми избами, на поле русском Она песни поет в затрапезной красе.

Где в дощатом бараке, в сыром общежитье Заливается за́полночь бедный баян...
— Выдь на Волгу, чей стон раздается, — скажите, по какой он причине печален и пьян?

Что, товарищ, неладно, — скажи ради Бога, В славном стане трудящихся в нашей стране? Но товарищ молчит и вздыхает глубоко. Он не слышит. Он, видно, стоит в стороне.

Или нынче гражданская скорбь неуместна? Или в моде опять барабан и труба? Или слишком нелестно и слишком известно? Или зренье не зорко и кожа груба?

Пусть потупятся Музы, продажные шкуры, Опротивело мне избегать ваших глаз — Слесаря, столяры, маляры, штукатуры — Настоящие люди, трудящийся класс. 1957

Иероним Босх

Я завещаю правнукам записки, Где высказана будет без опаски Вся правда об Иерониме Босхе. Художник этот в давние года Не бедствовал, был весел, благодушен, Хотя и знал, что может быть повешен На площади, перед любой из башен, В знак приближенья Страшного суда.

Однажды Босх привел меня в харчевню. Едва мерцала толстая свеча в ней. Горластые гуляли палачи в ней, Бесстыжим похваляясь ремеслом. Босх подмигнул мне: «Мы явились, дескать, Не чаркой стукнуть, не служанку тискать, А на доске грунтованной на плоскость Всех расселить в засол или на слом».

Он сел в углу, прищурился и начал: Носы приплюснул, уши увеличил, Перекалечил каждого и скрючил, Их низость обозначил навсегда. А пир в харчевне был меж тем в разгаре. Мерзавцы, хохоча и балагуря, Не знали, что сулит им срам и горе Сей живописец Страшного суда.

Не догадалась дьяволова паства, Что честное, веселое искусство Карает воровство, казнит убийство. Так это дело было начато.

Мы вышли из харчевни рано утром. Над городом, озлобленным и хитрым, Шли только тучи, согнанные ветром, И загибались медленно в ничто.

Проснулись торгани, монахи, судьи. На улице калякали соседи. А чертенята спереди и сзади Вели себя меж них как господа.

Так, нагло раскорячась и не прячась, На смену людям вылезала нечисть И возвещала горькую им участь, Сулила близость Страшного суда.

Художник знал, что Страшный суд напишет, Пред общим разрушеньем не опешит, Он чувствовал, что время перепашет Все кладбища и пепелища все.

Он вглядывался в шабаш беспримерный На черных рынках пошлости всемирной. Над Рейном, и над Темзой, и над Марной Он видел смерть во всей ее красе. Я замечал в Сочельник и на Пасху, Как у картин Иеронима Босха Толпились люди, подходили близко И в страхе разбегались кто куда.

Сбегались вновь, искали с ближним сходство, Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!» Во избежанье Страшного суда.

4 января 1957

Черная речка

Все прошло, пролетело, пропало. Отзвонила дурная молва. На снега Черной речки упала Запрокинутая голова.

Смерть явилась и медлит до срока, Будто мертвой водою поит. А Россия широ́ко и строго На посту по-солдатски стоит.

В ледяной петербургской пустыне, На ветру, на юру площадей В карауле почетном застыли Изваянья понурых людей —

Мужики, офицеры, студенты, Стихотворцы, торговцы, князья: Свечи, факелы, черные ленты, Говор, давка, пробиться нельзя.

Над Невой, и над Невским, и дальше, За грядой колоннад и аркад, Ни смятенья, ни страха, ни фальши — Только алого солнца закат.

Погоди! Он еще окровавит Императорский штаб и дворец, Отпеванье по-своему справит И хоругви расплавит в багрец.

Но хоругви и свечи померкли, Скрылось солнце за краем земли. В ту же ночь из Конюшенной церкви Неприкаянный прах увезли.

Длинный ящик прикручен к полозьям, И оплакан метелью навзрыд, И опущен, и стукнулся оземь, И в земле святогорской зарыт.

В страшном городе, в горнице тесной, В ту же ночь или, может, не в ту Встал гвардеец-гусар неизвестный И допрашивает темноту.

Взыскан смолоду гневом монаршим, Он как демон над веком парит И с почившим, как с демоном старшим, Как звезда со звездой, говорит.

Впереди ни пощады, ни льготы, Только бури одной благодать. И четыре отсчитаны года. До бессмертья — рукою подать. 1959

Марина

Седая даль, морская гладь и ветер Поющий, о несбыточном моля. В такое утро я внезапно встретил Тебя, подруга ранняя моя.

Тебя, Марина, вестница моряны! Ты шла по тучам и по гребням скал. И только дым, зеленый и багряный, Твои селые волосы ласкал.

И только вырез полосы прибрежной В хрустящей гальке ло́снился чуть-чуть. Так повторялся он, твой зарубежный, Твой эмигрантский обреченный путь.

Иль, может быть, в арбатских переулках... Но подожди, дай разглядеть мне след Твоих шагов, стремительных и гулких, Сама помолодей на сорок лет.

Иль, может быть, в Париже или в Праге... Но подожди, остановись, не плачь! Зачем он сброшен и лежит во прахе, Твой страннический, твой потертый плащ?

Зачем в глазах остекленела дико Посмертная одна голубизна? Не оборачивайся, Эвридика, Назад, в провал беспамятного сна. Не оборачивайся! Слышишь? Снова Шумят крылами чайки над тобой. В бездонной зыби зеркала дневного Сверкают скалы, пенится прибой...

Вот он, твой Крым! Вот молодость, вот детство, Распахнутое настежь поутру. Вот будущее. Стоит лишь вглядеться, Отыщешь дочь, и мужа, и сестру.

Тот бедный мальчик, что пошел на гибель, В соленых брызгах с головы до ног, — О, если даже без вести он выбыл, С тобою рядом он не одинок.

И звезды упадут тебе на плечи... Зачем же гаснут смутные черты И так далеко – далеко – далече Едва заметно усмехнулась ты?

Зачем твой взгляд рассеянный ответил Беспамятством, едва только возник? То утро, та морская даль, тот ветер С тобой, Марина. Ты прошла сквозь них!

12 января 1961

Встань, Прометей!

Встань, Прометей, комбинезон надень, Возьми кресало гроз высокогорных! Горит багряный жар в кузнечных горнах, Твой тридцативековый трудодень.

Встань, Леонардо, свет зажги в ночи, Оконце зарешеченное вытри И в облаках, как на своей палитре, Улыбку Моны Лизы различи.

Встань, Чаплин! Встань, Эйнштейн! Встань, Пикассо! Встань, Следующий! Всем пора родиться! А вы, глупцы, хранители традиций, Попавшие как белки в колесо,

Не принимайте чрезвычайных мер, Не обсуждайте, свят он иль греховен, Пока от горя не оглох Бетховен И не ослеп от нищеты Гомер!

Все брезжит, брызжет, движется, течет И гибнет, за себя не беспокоясь. Не создан эпос. Не исчерпан поиск. Не подготовлен никакой отчет.

Старый скульптор

Пришли не мрамором, не бронзой, — Живые ринулись на смотр — В монашеском обличье Грозный, В отваге юношеской Петр.

Два зеркала, два разных лика, Два крайних возраста твоих. А за окном парижский вихрь Не спит всю ночь и плящет лихо.

Фиалки дышат как весна, Грохочут фуры и фиакры. Нет, не добъешься больше сна, Не отобъешься от подагры.

Иль, может, вправду на покой, В последний путь на катафалке? Там, что ни май, цветут фиалки, А глина вечно под рукой...

Но, полон злобы дня насущной, Тот — не замеченный в углу, Насмешливый и непослушный — Сел на скалу, глядит во мглу,

Упер в коленки подбородок, Не откликается на зов. Он тоже вышел из низов И горд, как всяких самородок. Он не по климату одет И выглядит пронырой тертым. Прости, что вмешиваюсь, дед, Свожу тебя с твоим же чертом!

Ты с этим малым подружись, Стяни ремень возможно туже И начинай сначала ту же, Хоть и нелегкую, а жизнь.

Гол как сокол, небрит, неистов, Ты повстречаешь молодежь, Рассмотришь абстракционистов И Стасова к ним приведешь...

Смеепься? Неудобно, дескать, Оставить свой привычный круг, Быть академиком — и вдруг... Что за нужда! Какая детскость!

Ты прав, старик, семижды прав. Прости, что не считаясь с датой, Простую вежливость поправ, Я вздумал звать тебя куда-то.

Прости! Я позже родился, И в давке этих людных улиц Мы на полвека разминулись, А встретились на полчаса.

Твой возраст стодвадцатилетний Не станет старше все равно. До скорой встречи, до последней... Я занял очередь давно.

Как это ни печально

Как это ни печально, я не знаю Ни прадеда, ни деда своего. Меж нами связь нарушена сквозная, Само собой оборвалось родство.

Зато и внук, и правнук, и праправнук Растут во мне, пока я сам расту, И юностью своей по праву равных Со старшим делятся начистоту.

Внутри меня шумят листвой весенней, И этот смутный, слитный шум лесной Сулит мне гибель и сулит спасенье И воскресенье каждою весной.

Растут и пьют корнями соль и влагу. А зимние настанут вечера — Приду я к ним и псом косматым лягу, Чтобы дремать и греться у костра.

Потом на расстоянье необъятном, Какой бы вихорь дальше их ни гнал, В четвертом измеренье или в пятом Они заметят с башен мой сигнал,

Услышат позывные моих бедствий, Найдут моих погасших звезд лучи, — Как песни, позабывшиеся в детстве, В коротких снах звучащие в ночи.

(1963)

Заключение

Не жалей, не грусти, моя старость, Что не слышит тебя моя юность. Ничего у тебя не осталось, И ничто для тебя не вернулось.

Не грусти, не жалей, не печалься, На особый исход не надейся. Но смотри — под конец не отчайся, Если мало в трагедии действий.

Ровно пять. Только пять! У Шекспира Ради вечности и ради женщин Человека пронзает рапира, Но погибший победой увенчан.

Только эта победа осталась. Только эта надежда вернулась. В дальний путь снаряжается старость. Вслед за ней продолжается юность.

Канатоходиы

Вся работа канатоходца Только головоломный танец. Победителю тут венца нет, А с искусством ничтожно сходство.

Наше дело очень простое: Удержать вверху равновесье, Верить в звездное поднебесье, Как деревья, погибнуть стоя.

В каждом цирке есть купол этот, Не обрушенный в прах опилок. Путь наш ясен, а нрав наш пылок, И отчаянно весел метод.

Перестаньте, зрители-гости, Спорить с бедными мастерами! Посторонние в нашей драме, Обсуждать исход ее бросьте!

Что бы ни было, нет вам дела До грозящей другим расплаты, Оттого что вы не крылаты И не ваша рать поредела.

1964 (1975)

Балаганный зазывала

Кончен день. И в балагане жутком Я воспользовался промежутком Между «сколько света» и «ни зги». Кончен день, изображенный резко, Полный визга, дребезга и треска. Он непрочен, как сырая фреска, От которой сыплются куски.

Все, что было, смазано и стерто. Так какого — спросите вы — черта Склеивать расколотый горшок? Правильно, не стоит! Неприлично Перед нашей публикой столичной Славить каждый свой поступок личный, Хаять каждый личный свой грешок.

Вот она — предельная вершина! Вот моя прядильная машина, — Ход ее не сложен, не хитер. Я, слагатель басен и куплетов, Инфракрасен, ультрафиолетов, Ваш слуга, сограждане, — и следов... Вательно — Бродяга и Актер, —

Сказочник и Выдумщик Вселенной, Фауст со Спартанскою Еленой, Дон Кихот со скотницей своей, Дон Жуан с любою первой встречной, Вечный муж с подругой безупречной, Новосел приморский и приречный, Праотец несчетных сыновей.

Век недолог. Время беспощадно. Но на той же сцене, на площадной, Жизнь беспечна и недорога. Трачу я последние излишки И рифмую бледные мыслишки, А о смерти знаю понаслышке. Так и существую.

Ваш слуга.

Декабрь 1966



Реплика в споре

На каком же меридиане, На какой из земных широт Мои помыслы и деянья Будут пущены в оборот —

Переизданы ли роскошно Иль на сцене воплощены? Дознаваться об этом тошно, Все равно что ловить чины.

Я о будущем не забочусь И бессмертия не хочу. Не пристала такая почесть Ни поэту, ни циркачу.

В узелок свяжу свои вещи, Продиктую на пленку речь... Тут бы выразиться похлеще! Уж куда там душу сберечь!

Декабрь 1967

В долгой жизни

В долгой жизни своей, Без оглядки на пройденный путь, Я ищу сыновей, Не своих, все равно — чьих-нибудь.

Я ищу их в ночи, В ликованье московской толпы, — Они дети ничьи, Они звездных салютов снопы.

Я на окна гляжу, Где маячит сквозной силуэт, Где прильнул к чертежу Инженер, архитектор, поэт, —

Кандидат ли наук, Фантастический ли персонаж, Чей он сын, чей он внук, Наш наследник иль вымысел наш?

Исчезает во тьму Или только что вышел на старт? Я и сам не пойму, Отчего он печален и стар.

Как громовый удар, Прокатилась догадка во мне: Он печален и стар, Оттого что погиб на войне. Свою тайну храня В песне ветра и в пляске огня, Он прощает меня, Оттого что не помнит меня.

Дон Кихот

Не падай, надменное горе! Вставай, молодая тоска! Да здравствует вне категорий Высокая роль чудака!

Он будет — заранее ясно — Смешон и ничтожен на вид. Кольцом неудач опоясан, Дымком неустройства повит.

А кто-то кричит: «Декламируй. Меча не бросай, Дон Кихот! В горячей коммерции мира Ты мелочь, а все же доход.

Дерись, разъярясь и осмелясь, И с красным вином в бурдюках, И с крыльями ве́тряных мельниц, — Ты этим прославлен в веках.

Недаром, сожженный как уголь, В потешном сраженный бою, Меж марионеток и кукол Ты выбрал богиню свою!

Зоя Бажанова

Отрывок из поэмы

Поэзия! Я лгать тебе не вправе И не хочу. Ты это знаешь?

— ДА.

Пускай же в прочно кованной оправе Ничто, ничто не сгинет без следа, — Ни действенный глагол, ни междометье, Ни беглый стих, ни карандашный штрих, Едва заметный в явственной примете, Ни скрытый отклик, ни открытый крик. Все, как умел, я рассказал про Зою, И, в зеркала́х твоих отражена, Она сроднится с ветром и грозою — Всегда невеста, никогда жена.

И если я так бедственно тоскую, Поверь всему и милосердна будь, — Такую Зою —

в точности такую — Веди сквозь время в бесконечный путь.

И за руку возьми ее...

И где-то, Когда заглохнет жалкий мой мятеж, Хоть песенку сложи о ней, одетой В ярчайшую из мыслимых одежд. Поэзия! Ты не страна.

Ты странник Из века в век — и вот опять в пути. Но двух сестер, своих союзниц ранних, — Смерть и Любовь — со мною отпусти.

Январь — март 1969

День рожденья восьмого февраля

День рожденья — не горе, не счастье, Не зима на дворе, не весна, Но твое неземное участье К несчастливцу, лишенному сна.

Зов без отзыва, призрак без тела, Различимая только с трудом, Захотела ты и прилетела Светлым ангелом в сумрачный дом.

Не сказала и слова, но молча Подняла свой старинный стакан, И в зеленой бутылочной толще Померещился мне океан,

Померещились юные годы, Наши странствия, наши пути И одно ощущенье свободы, И одно только слово: прости! 1974 (?)

Миф

По лунным снам, по неземным, По снам людей непогребенных Проходит странник. А за ним Спешит неведомый ребенок.

«Что, странник, ты несешь, кряхтя? Футляр от скрипки? Детский гробик?»— Кричит смышленое дитя, И щурится, и морщит лобик.

Но странник молча смотрит вверх, А там, в соревнованье с бездной, Вдруг завертелся бесполезный Тысячезвездный фейерверк.

Там за петардой огнехвостой Мчит вихревое колесо. Все это, может быть, не просто, Но малым летям внятно все.

И мальчик чувствует, что это Вся жизнь его прошла пред ним — Жизнь музыканта иль поэта, И ужас в ней незаменим.

Что ждет его вниманье женщин, Утраты, труд и забытье, Что с чьей-то тенью он обвенчан И сам погибнет от нее.

(1974)

Временный итог

Хоропо! Сговоримся. Посмотрим, Что осталось на свете. Пойми: Ни надменным, ни добрым, ни бодрым Не хочу я ходить меж людьми.

Чем гордиться? Чего мне ломаться? И о чем еще стоит гадать? Дело кончено. Времени масса. Жизнь идет. Вообще — благодать!

Я хотел, чтобы все человечье, Чем я жил эти несколько лет, Было твердо оплаченной вещью, Было жизнью... А этого нет.

Я мечтал, чтоб с ничтожным и хилым Раз в году пировала гроза, Словно сам Громовержец с Эсхилом, — Но и этого тоже нельзя.

Спать без просыпу? Музыку слушать? Бушевать, чтобы вынести час? Нет!.. Как можно смирнее и суше, Красноречью — у камня учась. (1974)

Владимиру Рецептеру

(Мой друг Володя!..)

Мой друг Володя!

Вот тебе ответ! Все мастера суть подмастерья тоже. Несется в буре утлый наш корвет, Несется лихо — аж мороз по коже.

Поэзия с Театром навсегда Обвенчаны — не в церкви, в чистом поле. Так будет вплоть до Страшного суда В свирепом сплаве счастия и боли.

Так завораживай чем хочень. Только будь Самим собой — в личине и в личинке. Сядь за баранку и пускайся в путь, Пока мотор не требует починки.

Я знаю, как вынослив твой мотор, Живущий только внутренним сгораньем,— Он сам прорвется в утренний простор, Преображенный сновиденьем ранним.

Ничейный ученик, лихой артист, Любимец зала, искренний искатель Пойми: «Du bist am Ende was du bist»*. Стели на стол всю в винных пятнах скатерть,

^{* «}Ты— то, что представляешь ты собою» (Гёте «Фауст», глава 7, перевод Б. Пастернака).

Пируй, пока ты молод, а не стар! «Быть иль не быть» — такой дилеммы нету. В спортивной форме выходи на старт — Орлом иль решкой, но бросай монету!

Так в чем же дело? Может статься, мы Ровесники по гамбургскому счету Иль узники одной большой тюрьмы, В которой сквозь решетку брезжит что-то...

Да, это говорю я не шутя, Хоть весело, но абсолютно честно. А может статься, ты мое дитя Любимое от женшины безвестной.

Я это говорю, свидетель Бог, Без недомолвок, искренне и здраво. Я не мыслитель. Стих мой не глубок. Мы оба люди бешеного нрава.

И каждый этим бешенством согрет, Загримирован и раскрашен густо. Мы оба — люди. Вот в чем наш секрет. Вот в чем безумье всякого искусства!

15 февраля 1974

Только ритм

Остается один только ритм Во всю ширь мирозданья — Черновик чьей-то юности, Чьей-то душе предназначенный... То, что было в двадцатых годах Не достойно изданья,— Уцелело нечаянно, Сделано наспех и начерно.

Чьей-то песни давнишней припев, Едкой соли крупица Под чердачными балками В хламе, в пыли разворошена. Там сверчок свиристит, Но куда же ему торопиться? О, щемящая нежность, Гремящая в горле горошина...

Нет исхода у гибнущей юности, Нет облегченья. Что зачеркнуто черною тупью — Из памяти выпало. Не поможет рентген — Тщетно щупает мозг облученье: Очертанье лица Из безликого черепа выбыло.

Лжесвидетели ждут, Но от них не добъешься отчета. Баста! Точка и та Продиктована горечью. А по правде сказать, Не мое это дело, а чье-то. Крепко дверь заперта К Антокольскому Павлу Григорьичу. 1976

Нечем дышать, оттого что я девушку встретил, Нечем дышать, оттого что врывается ветер, Ломится в окна, сметает пепел и пыль, Стало быть, небыль сама превращается в быль. Нечем дышать, оттого что я старше, чем время. 1976

Последнее прибежище

Жилье твое остужено. Жена твоя покойница Была любимой суженой — И вот былинкой клонится,

И спит в подводном Китеже, Спит, запертая в тереме. А ты сиротство выдержи, Коли богат потерями.

Ничто, ничто не сдвинуто, Все прочно закольцовано. А если сердце вынуто — Заснет в конце концов оно.

Забудь свое случайное. Застынь в метели режущей И настежь дверь в отчаянье — В последнее прибежище. 1975

КОММЕНТАРИИ

Ранние стихи П. Г. Антокольского печатаются по сохранившимся автографам. Стихи до 1919 написаны в старой орфографии и с использованием нетипичной пунктуации. В этом издании они публикуются в соответствии с правилами современного русского языка.

[Ю. Завадский (стр. 30)]

Георгий (или Юрий) Александрович Завадский (1894—1977) — актер, один из самых известных театральных режиссеров России советского периода, педагог. Друг юности П. Г. Антокольского; они вместе работали в театральной студии под руководством Е. Б. Вахтангова (1916—1919; 1921—1922). Ему посвящено множество ранних стихов А.

[Л. Антокольский (стр. 54)]

Лев Моисеевич Антокольский (1872—1942) — художник; брат отца А. Был учеником И. Е. Репина и сам стал прекрасным педагогом, учил рисованию племянника-подростка.

[Кн. Е.Тарханова (стр. 116)]

Княгиня Елена Павловна Тарханова, урожденная Антокольская (1868—1932) — скульптор; сестра матери поэта. Фамилию и титул получила от мужа, грузинского князя И. Р. Тархан-Моурави, известного физиолога.

[Е. Кумминг (стр. 122)]

Евгений Львович Кумминг (1899—1957?) — в юности поэт и агент уголовного розыска. Эмигрировал из России в Германию в 1921. Работал журналистом в берлинских газетах, автор разоблачительных статей о чекистских репрессиях, переводчик, педагог.

[А. Керенский (стр.132)]

Александр Федорович Керенский (1881–1970) — российский общественный и политический деятель, министр, затем председатель Временного правительства России, которое было свергнуто большевиками 25 октября (7 ноября) 1917. Этот судьбоносный для страны момент нашел свое отражение и в творчестве юного А. См. также «Дрожит рука в тугой перчатке».

[Эдмон Кин (стр. 134)]

Эдмонд (Эдмунд) Кин (1787–1833) — великий английский актер эпохи романтизма, прославившийся исполнением ролей в трагедиях Шекспира, чем и был интересен А., тоже большому поклоннику Шекспира.

[Марина Цветаева (стр. 140)]

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — поэт, прозаик, переводчица, с которой А. был дружен до ее эмиграции в 1922 в Чехию, затем во Францию. Она сыграла важную роль в его поэтической судьбе — у нее он учился поэзии. После трагической гибели М. И. Цветаевой А. участвовал в восстановлении ее имени в русской литературе: он является автором очерка о жизни и творчестве Цветаевой, вступительных статей и рецензий к ее сборникам; ей А. посвятил несколько стихотворений. См. также «Марина».

[Петр Первый (стр. 145)]

Царь Петр I (1672–1725) был для А. символом российской государственности, ключевой фигурой русской истории. В творчестве А. царь Петр — это литературный аналог скулыптурного творения М. М. Анткольского. Деда и внука, скулыптора и поэта объединял интерес к личности прогрессивного русского царя.

[Сергей Гольцев (стр. 141)]

Сергей Гольцев (1896–1918) — друг А., актер студии Е. Б. Вахтангова в первые годы ее существования. В начале Гражданской войны ушел в Белую армию и вскоре погиб в сражении. Друг и однополчанин С. Я. Эфрона, мужа М. И. Цветаевой. Цветаева впервые услышала стихи А. от Сергея Гольцева.

[Эти письма из пропілого в красных печатях...» (стр.161–162)] «Эти письма из прошлого в красных печатях...» — эпиграф, принадлежащий А. и относящийся к циклу стихов, которые он и не пытался опубликовать в условиях советской цензуры. Они увидели свет уже после его смерти — в годы перестройки и после распада Советского Союза. См. также «Мы в истории вычеркнем это и то», «Мы все — лауреаты премий», «Я не хочу судиться с мертвецом», «Как они бесприютны, угрюмы, понуры».

[«Сын» (стр. 172–178)]

Поэма «Сын» (1943) посвящена поэтом его погибшему во вре-

мя Великой Отечественной войны сыну Владимиру Антокольскому (1923—1942). Поэма была удостоена Сталинской премии, принесла автору мировую известность. В творчестве А. тема погибшего сына одна из самых важных. См. также «Сны возвращаются», «В долгой жизни».

[Зоя Бажанова (стр.181)]

Зоя Константиновна Бажанова (1902–1968) — жена А.; актриса, педагог. Сней, музой поэта, связаны многие годы его жизни и плодотворной работы: сначала в театральной студии, руководимой Е. Б. Вахтанговым, затем в театре им. Е. Вахтангова и в 1930—40-е годы в подпефном комсомольском театре города Горького, ставшем во время Великой Отечественной войны фронтовым театром им. Чкалова. Ей посвящено несколько циклов лирических стихов А. См. так же «Я люблю тебя», «Зое на добрую память», «Зоя Бажанова», «День рождения восьмого февраля».

[Иероним Босх (стр. 198-200)]

Иероним Босх (наст. имя Ерун ван Акен, ок. 1450—1516) — нидерландский художник, автор триптиха, частью которого является картина «Страшный суд»; один из любимых художников А.

[Черная речка (стр. 201)]

Черная речка — место дуэли А. С. Пушкина, где он был смертельно ранен. Пушкин был любимым поэтом А., он посвятил ему немало стихотворений и литературоведческих работ. А. являлся одним из организаторов и участников ежегодных всероссийских пушкинских праздников поэзии в селе Михайловском. См. также «Пушкин», «Баллада о чудном мгновении».

[Старый скульптор (стр. 207–209)]

Стихотворение «Старый скульптор» обращено к знаменитому скульптору Марку Матвеевичу Антокольскому (1843—1902), летописцу русской истории, увековечившему ее в мраморе и бронзе. А. приходился ему внучатым племянником; именно под влиянием М. М. Антокольского сложился интерес поэта к русской истории.

[Вл. Рецептер (стр. 210)]

Владимир Эммануилович Рецептер (род. в 1935) — актер, режиссер, поэт; друг А. С 1992 — художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге.

Содержание

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихи 1915 года	
Наигрыш	5
«О, как трудна и как отрадна»	6
«На косогор придет»	7
«Эй, Бутафор! Грозу устройте»	8
«И вот к нему явилась Королева»	9
Корабли (отрывок из поэмы)	10
В цирке	12
Шекспир	13
Гамлет	14
Веласкес	15
«Ни Золушки шаги по пыльному	
паркету»	16
«Ночь протекла. Горит одна свеча»	18
«Был вечер, вымазанный сажей»	19
«День деревенской бедной сырости»	20
«Дождь бьет в стекло. Удушье черноты»	21
«Я бы хотел противоречить всем»	22
«Есть много на земле занятий	
и профессий»	23
«Все, что осталось здесь от бедного	
рассказа»	24
«Король упал. Он был в своей	
прекрасной»	25
Магическое	26
Так я богат	27
Разговор у подъезда	28
«Инфанты бледные с точеными руками»	30
«Мой ржавый меч — любовь. Кто знает	
меч чудесней?»	31

Решение	32
А Пиппа пляшет	33
Двое	34
Так она богата	35
«Самый живой и самый странный»	36
Пробуждение	37
Твердость	38
Юность	39
Коломбина	40
Пьеро умирает	41
«Прильнул бы к алмазному кубку»	42
«Все в той же позе, с той же бедной розой»	43
«Была ли правда суждена»	44
«Я к истине твоей не приспособлен»	45
«Я видел океан неукротимой Воли…»	46
Последнее	47
Стихи 1916–1917 годов	
«Гимназический двор. Весна»	48
«Далеко это было где-то»	50
«Что значит год? Спроси у книг»	51
«Ни Данта медного рассказ неумолимый»	52
«Новый год — это новое счастье»	53
Л. Антокольскому	54
«Я знаю дьявольское чудо»	55
«Она жила. Она звалась Татьяна»	56
«Есть знаки времени. Есть голоса	
пространства»	57
«Чурлёнис шел по Млечному Пути»	58
«Как много вас сошлось: король	
с клюкой высокой»	59
«Я глупый и пьяный матрос»	60

Благовещенье	61
«Я искал тебя так долго в городах,	
домах и башнях»	62
«Муза! Ты будешь всю ночь»	63
«В личине бесподобного дендизма»	64
«Каждый раз сознавать: это сон»	65
«Там, в звездных пролетах испуганной	
Ночи»	66
«Ее глаза как два меча»	67
«Пройти сквозь строй веков, сквозь	
тысячи обличий»	68
«Эту песенку для Вас…»	69
Свадьба	70
Городская ночь	71
«Зачем ты приходишь? — Проститься»	72
«И вот опять, и вот опять…»	73
«Ты в хмельном запахе полуденных	
мимоз»	74
«Он всю ночь стоит у изголовья»	75
«Она придет в последней вьюге»	76
«Вы считаете меня очень злым»	77
«Он крепко спит, когда они смеются»	78
«Такой, как все они: ни стар, ни молод»	79
Ave Maria	80
Крестовый поход	82
«О, Муза, причудница мрака»	83
«Что мне день? Колодцы неба в тучах»	84
«Я вынул из подвала ржавый меч»	85
«Вот и умер. Лежу под покровом»	86
«Голубеет, розовеет серпантин»	87
«Дай мне крепкий замок, дай земную	
славу»	88

«Я только исполняю свои ооет»	89
«Смейся со мною на свадьбе, на тризне»	90
«Странное бремя дала мне судьба»	91
«Я счет забыл. Я помню слишком	
пылко»	92
«Улица. Осень. В ночи»	93
«Два голоса поют у старого рояля»	94
«Из тысячи зеркал ты улыбалась мне»	95
«Плоскогорьями крыш убаюкай»	96
«Город, веселый рассказчик»	97
«Я обезглавлен на Страстной Неделе»	98
«Все часы остановились сразу»	99
«Черный снег летает рядом тише сов»	100
«Оттого, что пустынно на каменной	
площади Рока…»	101
«Облака под мертвым ветром	
загибались»	102
«Город. Ночь. Проходят облака»	103
«Врывается загнанный бунт»	104
«Как древле веницейский дож»	105
«Панна Марина! Как мне быть с тобой?»	106
«Утрачено главное. Остальное не важно»	107
Стихи 1917 года	
«Юность подходит к дымным	
ущельям»	108
«У Каждого из Них есть два крыла»	109
«Я не верю ангелочкам, понавешенным	
на елку»	110
«Тапёр приглашен. Приходите, веселый	
Февраль!»	111
«Сам Одиссей пред Афиной робеет»	112

«и ты придешь. Коснешься рук	
свинцовых»	113
«Мороз. Гудят под небом провода»	114
«Когда каскады толп в пустое небо	
влезут»	115
«И вот Она, о Ком мечтали деды»	116
«Так спится только молодым»	117
Chevaleresque	118
«Она ушла. А здесь, в тюрьме	
давнишней»	120
«Когда с опущенным забралом»	121
«Бесчисленны миры в сиянье старой	
лампы»	122
«Давно пора вставать. Весна. Как это	
дико!»	123
Музыка	124
Горелки	125
«Дай мне вспомнить, что Сегодня	
и Вчера»	126
«Твоих ли уст я услыхал молчанье?»	127
«Там купола обсерваторий»	128
«Еще надежда не иссякла»	129
«Мраморной глыбой валится гром»	130
Димитрий Царевич	131
«Это верный оплот и награда»	132
«Город, как пьяный Царевич, играет»	133
Стихи 1918 года	
	134
Павел Первый	135
«Дрожит рука в тугой перчатке»	136
«Петербург. Арка Штаба разбита»	138

«Пусть варвары господствуют	
в столице»	140
Сергею Гольцеву	141
Стихи 1919–1930 годов	
«Черна, как бывают колодцы черны»	142
Последний	143
Петр Первый	145
Экспрессионисты	146
Ребенок мой осень	148
Санкюлот	149
Пушкин	153
Песня дождя	156
Я люблю тебя	158
Кладовая	159
«Окружен со всех сторон»	160
Фургон	162
31 декабря	164
Застольная	166
Памяти матери	167
Окончание книги	169
Стихи 1940–1976 годов	
Сын (отрывки из поэмы)	171
Лагерь уничтожения	178
Невечная память	182
«Мы в Истории вычеркнем это и то»	187
Сны возвращаются	188
Баллада о чудном мгновении	189
Зое на добрую память	192
«Мы все — лауреаты премий»	193
«Я не хочу судиться с мертвецом»	194

маяковскии	193
«Как они бесприютны, угрюмы, понуры»	196
Иероним Босх	198
Черная речка	201
Марина	203
Встань, Прометей!	205
Старый скульптор	206
Как это ни печально	209
Заключение	210
Канатоходцы	211
Балаганный зазывала	212
Реплика в споре	214
В долгой жизни	215
Дон Кихот	217
Зоя Бажанова	219
День рожденья восьмого февраля	221
Миф	222
Временный итог	223
Владимиру Рецептеру (Мой друг Володя!)	224
Только ритм	226
«Нечем дышать, оттого что я девушку	
встретил»	228
Последнее прибежище	229
КОММЕНТАРИИ	230

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ АНТОКОЛЬСКИЙ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПУТЬ!

Главный редактор Анаит Барагамян Мл. редактор Надежда Якушина Корректор Галина Барышева Верстка Людмила Кулиш

Подписано в печать 00. 00. 2013. Формат издания 75х90 $^{1}/_{32}$. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,38. Тираж 20 000 экз. Заказ № .

Издательский дом «Комсомольская правда». 125993, Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23. www.kp.ru, e-mail: kollekt@kp.ru

> Издательство «НексМедиа». 117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 1. www.biblioclub.ru. e-mail: editor@directmedia.ru

Отпечатано: SIA «Preses nams Baltic» «Янсили», Силакрогс, Ропажский район, Латвия, LV-2133 www.pnbprint.lv

